

КРОВЬ НА «ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ»?

СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО — ЦЕНТР ШПИОНАЖА

8

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ГУМИЛЕВА

90

ДАУТАВА



В мае 1990 года (см. с. 6)

Фото Гунара Янайтиса

Даугава

АВГУСТ (158)

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, РИГА

В Н О М Е Р Е:

Архив современности

- 3** Декларация Верховного Совета Латвийской Советской Социалистической Республики «О восстановлении независимости Латвийской Республики»
- 5** Указ Президента Союза Советских Социалистических Республик о декларации Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановлении независимости Латвийской Республики»
- 6** Алла Петропавловская
В мае 1990 года

Проза и поэзия

- 7** Роальд Добровенский
Семь жизней Яна Райниса. Главы романа-биографии. Продолжение
- 43** Янис Плотникс
В своем аду. Стихи
- 47** Андрей Седых
Там, где была Россия
- 70** Леонид Черевичник
Из украинской антологии

1990

8

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Публицистика

- 78** *Александр Ципко*
Если бы победил Троцкий... Продолжение
- 98** *Айвар Странга*
«На вечные времена»

Обзоры, размышления, рецензии

- 110** *Андрей Левкин*
Вне метрополии: журнал «Синтаксис»

Методика

- 116** *Роман Тименчик*
По делу № 214224

- 122** *Владислав Ходасевич*
Подслушанные разговоры

- 124** *Андрей Задонский*
V. Певческий праздник в Курляндской глуши

- 127** Почта «Даугавы»

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

Андрис ЯКУБАН, зам. гл. редактора (член редколлегии), Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК, зав. отд. поэзии (член редколлегии), Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Вадим РУДНЕВ, зав. отд. критики, Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, спецкорреспондент.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Провозглашенное 18 ноября 1918 года независимое Латвийское государство получило в 1920 году международное признание и в 1921 году стало равноправным членом Лиги Наций. Свое самоопределение латышская нация юридически осуществила в апреле 1920 года, когда на всеобщих, равных, прямых и пропорциональных выборах мандат доверия народа был вручен Учредительному собранию. 15 февраля 1922 года оно приняло основной закон государства — Конституцию Латвийской Республики, которая *de jure* в силе по настоящее время.

Ультимативная нота сталинского правительства СССР того времени, врученная 16 июня 1940 года правительству Латвийской Республики с требованием смены правительства, и вооруженная агрессия СССР 17 июня 1940 года должны быть квалифицированы как международное преступление, результатом которого явилась оккупация Латвии и ликвидация суверенной государственной власти Латвийской Республики. Правительство Латвии было образовано по указаниям представителей правительства СССР. С точки зрения международного права это правительство не являлось исполнительным органом суверенной государственной власти Латвийской Республики, так как представляло интересы не Латвийской Республики, а СССР.

14 и 15 июля 1940 года в оккупированной Латвии в условиях политического террора на основе противоправно принятого антиконституционного закона о выборах были проведены выборы в Сейм. Из 17 представленных списков кандидатов к голосованию был допущен лишь список кандидатов Блока трудового народа. В предвыборной платформе Блока трудового народа не содержалось требования о провозглашении советской власти в Латвии и о вступлении Латвийской Республики в состав Советского Союза. К тому же результаты голосования были фальсифицированы.

Сейм, образованный противозаконно, в результате обмана народа, не являлся выразителем суверенной воли народа Латвии. Он не обладал конституционным правом решать вопрос об изменении государственного устройства и ликвидации суверенитета Латвийского государства. Эти вопросы был вправе решать лишь народ, однако свободное всенародное голосование проведено не было.

Тем самым включение Латвийской Республики в состав Советского Союза с точки зрения международного права не имеет силы и Латвийская Республика как субъект международного права существует *de jure* до настоящего времени, что признают более 50 государств мира.

Исходя из принятых Верховным Советом Латвийской ССР 28 июля 1989 года «Декларации о государственном суверенитете Латвии» и 15 февраля 1990 года «Декларации по вопросу государственной независимости Латвии», а также принимая во внимание Обращение Вселатвийского собрания народных депутатов от 21 апреля 1990 года,

учитывая определенно выраженную волю населения Латвии, отдавшего большинство голосов тем народным депутатам, которые в своей предвыборной программе выразили решимость восстановить государственную независимость Латвийской Республики,

встав на путь восстановления свободной, демократической и независимой Латвийской Республики *de facto*,

Верховный Совет Латвийской ССР постановляет:

1. Признать приоритет основных принципов международного права над нормами государственного права, считать противоправным соглашение между СССР и Германией от 23 августа 1939 года и явившуюся его следствием ликвидацию суверенной государственной власти Латвийской Республики 17 июня 1940 года в результате вооруженной агрессии СССР.

2. Объявить декларацию Сейма Латвии от 21 июля 1940 года «О вступлении Латвии в Союз Советских Социалистических Республик» не имеющей законной силы с момента ее принятия.

3. Возобновить действие принятой Учредительным собранием 15 февраля 1922 года Конституции Латвийской Республики на всей территории Латвии.

Официальное название Латвийского государства — ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, сокращенно — ЛАТВИЯ.

4. До принятия новой редакции приостановить действие Конституции Латвийской Республики, за исключением статей, определяющих конституционно-правовые основы Латвийского государства, которые в соответствии со статьей 77 Конституции могут быть изменены лишь всенародным голосованием, а именно:

статья 1 — Латвия является независимой демократической республикой;

статья 2 — Суверенная власть в Латвийском государстве принадлежит народу Латвии;

статья 3 — Территорию Латвийского государства в границах, определенных международными договорами, образуют Видземе, Латгале, Курземе и Земгале;

статья 6 — Сейм избирается путем всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорционального голосования.

Статья 6 Конституции применяется после возобновления структур государственной власти и управления независимой Латвийской Республики, гарантирующих свободное проведение выборов.

5. Установить для восстановления государственной власти Латвийской Республики *de facto* переходный период, завершающийся созывом Сейма Латвийской Республики. Во время переходного периода высшую государственную власть в Латвии осуществляет Верховный Совет Латвийской Республики.

6. Считать возможным во время переходного периода применение норм Конституции Латвийской ССР и иных законодательных актов, действующих на территории Латвии в момент принятия настоящей Декларации постольку, поскольку они не противоречат статьям 1, 2, 3 и 6 Конституции Латвийской Республики.

В случаях спора вопросы применения законодательных актов разрешаются Конституционным судом Латвийской Республики.

Во время переходного периода право принятия новых законодательных актов или изменения действующих актов принадлежит только Верховному Совету Латвийской Республики.

7. Образовать комиссию для выработки новой редакции Конституции Латвийской Республики, соответствующей нынешнему политическому, экономическому и социальному положению Латвии.

8. Гарантировать гражданам Латвийской Республики и других государств, постоянно проживающих на территории Латвии, социальные, экономические и культурные права, а также политические свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. Распространить эти права и свободы в полной мере на граждан СССР, которые выразят желание проживать в Латвии, не принимая ее гражданства.

9. Отношения между Латвийской Республикой и СССР строить на основе действующего и поныне мирного договора между Россией и Латвией от 11 августа 1920 года, коим на вечные времена признана независимость Латвийского государства. Для переговоров с СССР образовать правительственную комиссию.

Декларация вступает в силу с момента ее принятия.

Председатель Верховного Совета
Латвийской ССР

А. ГОРБУНОВ

Секретарь Верховного Совета
Латвийской ССР

И. ДАУДИШ

г. Рига, 4 мая 1990 года

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК О ДЕКЛАРАЦИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЛАТВИЙСКОЙ ССР «О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Верховный Совет Латвийской ССР принял 4 мая 1990 г. Декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики». В ней объявляется не имеющей законной силы Декларация сейма Латвии от 21 июля 1940 г. о вступлении Латвии в состав СССР. Одновременно говорится о возобновлении действия ряда статей Конституции Латвийской Республики 1922 г.

Указанная Декларация принята Верховным Советом Латвийской ССР с нарушением статей 70, 71, 73 и 75 Конституции СССР, а также закона СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики

из СССР». Она идет вразрез с законными правами и интересами других субъектов советской федерации, Союза ССР. При ее принятии нарушена и Конституция Латвийской ССР, предусматривающая, в частности, проведение референдума о выходе республики из состава Союза ССР.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 127³, статей 74 и 173 Конституции СССР постановляю:

Объявить Декларацию Верховного Совета ССР от 4 мая 1990 г. «О восстановлении независимости Латвийской Республики» не имеющей юридической силы с момента ее принятия.

Президент Союза Советских Социалистических Республик

Москва, Кремль.
14 мая 1990 г.

М. ГОРБАЧЕВ



В МАЕ 1990 ГОДА

Это уже вторая за нынешнее столетие попытка латышского народа обрести независимость. Первая завершилась трагически в 1940-м, через двадцать лет после того, как Россия признала независимость Латвии на вечные времена...

Диктатура приходит и рушится, идеология душит и отмирает, а стремление к свободе остается. Новый виток истории принес шанс на восстановление справедливости. Фракция большинства Верховного Совета, фракция Народного фронта Латвии, приведенная к власти народным движением, выполнила главный наказ своих избирателей — провозгласила восстановление независимости и начало переходного периода к обретению государственности. Это было 4 мая. И стало историческим днем начала пути. А первые же дни работы парламента показали, как тяжел груз предыдущих десятилетий тоталитарного «выбора». Дух партийных схваток ощутимо корректировал парламентские дебаты и решения.

А еще была атмосфера улиц: радость и ликование одних, напряженность и настороженность других. Были и есть надежды на здравый смысл, мудрость, терпимость и добрую волю.

И был Указ — ответ Президента на полное уважения и веры послание

Верховного Совета Латвии — в день десятый. И был в тот же день призыв Республиканского совета Интерфронта — начать забастовку, которая заставит «прислушаться к голосу трудового народа горстку предателей и политических авантюристов». А на следующий день около двух тысяч военнослужащих, в том числе курсантов рижских военных училищ, переодетых в штатское, направляемых армейскими политработниками, ринулись на штурм парламента — «от имени народа»...

К августу, когда увидит свет этот номер журнала, наверняка что-то изменится в жизни республики. Но уже сейчас, в мае, очевидно, как важно одной части парламента научиться учитывать интересы тех, чье опасение за свое будущее и будущее своих детей щедро подпитывается угрозами и мрачными «предсказаниями» лидеров Интерфронта и КПЛ на платформе КПСС. И как жизненно важно, наконец, осознать другой части парламента, что национально-освободительное движение неостановимо.

В начале третьей волны национального возрождения Латвии Народный фронт поднял лозунг: «За нашу и вашу свободу!» Замечательный лозунг. Главное, чтобы обе его части всегда оставались равнозначными.

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ЯНА РАЙНИСА

Главы романа-биографии

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переезд! Опять переезд. И первая в жизни разлука.

Семья разделяется. Мать остается хозяйкой в Рандене, при ней и двухлетняя Дора. Кришьянис Плиекшан, Лизе и Янис перебираются в новый дом. Это недалеко. Версты две с небольшим нужно проехать вдоль берега, по большой дороге, до Земгальской Гривы. Этот городок Курляндской губернии заглядывал через широкую Даугаву в окна Динабурга, относившегося уже к губернии Витебской. Старый мост, соединявший берега реки, был границей. С прохожего здесь брали мзду: копейку. За что? Да так, ни за что; кто-то бочком-бочком норовил прошмыгнуть даром, — нет, брат, шалишь . . . изжелта-седой еврей затевает бессмысленный спор с презрительно ухмыляющимся сборщиком пошлины: стенания, воздевание рук, призывание неба в свидетели несправедливости, брань; улюлюканье и подзуживание со стороны зевак; затор и сердитое лошадиное ржание, перепутывание морд, кнутовищ, вожжей, оглобель; в иной раз и кулаков.

Грива по-латышски — речное устье. Собственно Земгальская Грива — то место, где впадает в Даугаву речка Лауце. Тут рядом немецкая школа, в ней Лизе училась; в нее со временем, Бог даст, поступит и Янис, и малышка Дора. Когда едешь из Рандене, через речку переезжать не нужно. За школой повернуть направо, дорога сама поведет, через Калкуну, то приближаясь к речке, то удаляясь от нее. Еще поворот; вот и белая церковь, и господское кладбище. Дальше тянется аллея, высоченные липы и вязы — прямой путь к барской усадьбе Бёркенеле. Хозяин здесь теперь — Кришьянис Плиекшан. Кто бы мог подумать! Сравнялся . . . почти сравнялся с немецкими баронами: именно им, их предкам принадлежала эта аллея, эта усадьба. «А вон там, — показывает отец хладнокровно на каменное невысокое строение, — по их приказу секли нашего брата до крови». (Или, может быть, не отец, другой кто-нибудь указал на постройку с маленькими, как свинячьи глазки, окошечками, забранными решеткой?)

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 7.

... События своего и уж тем более чужого детства видятся нам как бы в перевернутый бинокль: уменьшенными до смешного. А смотреть нужно, может быть, и в бинокль, но никак уж не в перевернутый. Пятнадцатикратное, если не больше, увеличение необходимо только для одного: чтобы возвратить событиям их истинный масштаб.

Если так именно, то есть правильно, взглянуть на первое расставание семилетнего мальчика с родной матерью и малышкой-сестрой, то не будет нужды описывать тогдашние его волнения. Предвкушение неведомого будущего, тоже вдруг захлестывавшее, смесь любопытства и нечаянной (даже как будто неприятной) радости с ноющей болью: уезжать, отрываться от матери страшно — как второй раз родиться.

Да, кто спорит: недалеко уезжал он, не навсегда расставался. Верст десять будут теперь разделять их. Да вот беда: версты эти не раз и не два окажутся непреодолимыми. Нельзя владелице (временной) Рандене отрываться от хозяйства; десять верст туда, десять обратно. Где взять время? Как это, все бросив, отправиться куда-то не по делу, а просто так, повидаться? И точно так же и отец и Лизе будут привязаны к своему новому дому, к трудным, как всегда поначалу, нескончаемым заботам. Крестьянская жизнь строга и отлучек, самых кратких, не любит, — а жизнь Плиекшанов, при всем набранном размахе, была жизнью крестьянской.

Единственный, кто мог позволить себе чаще отрываться от дома, был сам Кришьянис Плиекшан, — его к тому понуждали и дела и, может быть, увлечения, которые никогда не были чужды его азартной и властной натуре.

Так что первое расставание — оно и было расставанием, как оказалось, на долгие годы, а в чем-то, как и бывает с любым расставанием, — навсегда.

Аллея была длинная, в четверть километра. Внутри, под кронами, и в разгар дня были сумерки. Такие же старые могучие деревья окружали усадебный двор, в их тени старое, одноэтажное с фасада здание смотрелось довольно угрюмо. Тем внезапней с другой стороны отворялись взгляду совсем другие картины. Дом, превращаясь тут в двухэтажный, оказывался на гребне крутого холма. Внизу курчавились сады, расстилась по-южному живописная долина, вдали замыкавшаяся новыми холмами; дальше виднелись леса и рощи; где-то возле горизонта протянулась издали железная дорога...

Реки здесь не было — зато был пруд, мочила для льна, большой старый сад, а еще дальше — озеро, вместившее тайн, с первого дня притягивавших Яниса и пугавших.

Отец был занят с утра до ночи. Мальчик со дня приезда оказался на попечении старшей сестры. Она делается и его первой учительницей.

Деды Райниса со стороны и отца и матери смолоду были грамотен. Причем в тех местах и в те времена (начало девятнадцатого века) они не были исключением. По церковным книгам можно видеть, что из числа их ровесников к моменту конфирмации читать и писать умел каждый второй, в списке против их имен стояли две буквы: «у. г.», — то есть «умеет грамоте».

Кришьянис Плиекшан окончил приходскую школу. Учили там писать и читать по-немецки. Уже в молодые годы отец Райниса знал кроме

родного еще три языка: немецкий, русский, литовский. А считать он умел, насколько можно судить по его хозяйственным успехам, никак не хуже соседей-помещиков.

Мать, Дарта Плиекшане, говорить умела на тех же языках, а читала, кажется, только по-латышски. Когда ее сын уедет учиться в Ригу, он к сестрам да и к отцу будет обращаться в письмах чаще по-немецки, а к маме — всегда и только по-латышски.

Литва была рядом с местами, где выросли отец и мать Райниса. В Литву, например, ездили покупать поросят — они там были дешевле.

Без немецкого нечего было и думать преуспеть в делах. Русский — официальный язык империи — следовало употреблять и в суде, и на рынке, и в Риге, и в Витебске, и просто на большой дороге, чтобы тебя не обвели вокруг пальца.

Польский язык, белорусский, латгальский понадобятся в новых местах и будут освоены по мере необходимости. Кто многоязычен с детства, для того не составляет труда освоить еще один диалект или язык: ум его в этом отношении уже гибок, приспособлен к тому, чтобы отмыкать чужие системы звуков и связанные с ними миры (ведь внутри каждого языка вселенная выглядит уже несколько иначе; каждый предмет не просто назван, он когда-то впервые увиден по-другому, соотнесен с соседними предметами и явлениями тоже не совсем так, как в твоей родной речи).

Нужно знать, что крестьянин никогда не станет запоминать слова, которые ему не пригодятся сегодня-завтра. Только острая нужда может заставить его сделаться полиглотом. Многоязычен был мир вокруг, и это-то заставляло самых смекалистых, самых талантливых и еще — самых свободных, то есть небедных, латышей обзаводиться полудюжиной языков и наречий. Это было вроде связки ключей, которыми можно было отпереть запечатанные входы; без них торкнешься туда, ткнешься сюда — везде тупик.

А любили-то они свой врожденный, как говорят латыши — материнский язык. Звуки, пришедшие то ли вместе с колыбельной песней, то ли все-таки раньше, до нее. Как долго и вкусно тянутся долгие гласные, как коротки краткие! Как звенят в родном языке звоны, как листья шуршат, шепуршат и шушукуются, как громыхают громы, как умеет слово вместе с тобой, человеком, всхлипнуть и вздрогнуть! Ни от одного из чужих, хотя бы и самых распрекрасных слов не становится сладко во рту или солоно, или горько — хотя ничего еще не съедено, не попробовано на язык, кроме самих слов: салдумс, салс, ругтумс.¹

Лизе к восемнадцати годам была девушкой образованной, а не просто «у. г.», умевшей грамоте. Она не только говорила по-немецки, но и писала без ошибок, точно, дельно и несколько сурово выражая свою мысль. В школе она читала и по-латыни, изучала историю — и потчевала своего семи-восьмилетнего братца рассказами о древних богах и героях, греческих и римских. Латышская грамота была ей тоже известна, но Янису поначалу ее не досталось. Хозяйских детей принято было с первых шагов учить по-немецки, и Лизе взялась за дело именно так, как было принято.

¹ Сладость, соль, горечь (латыш.).

Райнис напишет о Лизе: «То была прекрасная и благородная девичья душа, пламенно желавшая творить добро, но не знавшая путей к этому; наивная девушка, опытом суровой жизни приученная к строгости, к исполнению долга и сроду не позволявшая себе тут ни малейших сомнений». Это из автобиографической новеллы Райниса «Упрямец». В записях для себя он куда строже. «Может быть, лучшая из нас . . .» — да, это он написал. А дальше: старая дева, ограниченная, со всеми свойствами и странностями, вытекающими отсюда . . .

А вот опять новелла: «Сестра — очень серьезная девушка, хотя ей всего лет двадцать. Росла она одиноко (тоже одиноко!) и никогда не умела по-настоящему свыкнуться со своим окружением, которому привыкла, однако же, безропотно подчиняться. Она прекрасная, заботливая, проворная хозяйка, душа дома. И никому так не постылы эти хозяйственные заботы, как ей, эта однообразная жизнь, мелочность, копеечные соображения, этот единственный разговор даже и по праздникам о скотине и курах . . . Но оставалась в ней тайная, невысказанная надежда, единственно дававшая ей силы бороться: неся ярмо нудной повседневности, она тем самым ее и осилит, вырвется из трясины, сломит вечный гнет. А если не победит она, тогда эту тайную борьбу продолжит ее духовный наследник, любимец, маленький Джек . . .»

На самом деле Лизе звала Яниса по-французски: Жан. Впрочем, с прибавлением латышского уменьшительного суффикса: Жаныньш, как это перевести на русский? Жанчик, наверное. «Все в ней содрогалось при мысли, что он может оказаться одним из этих жалких, захудалых людишек: Екабов, Кришьянисов, Стефанов. По крайней мере столько-то она смогла: назвала его Джекиншьем, Джеком. Она любила в нем свое несостоявшееся будущее и не знала, как ему помочь. Учение она понимала только так: строгость и самопожертвование. Человек изначально дурен — вырвать корень зла, пока не поздно; лень, ложь — как им не быть? — вон, вон, как дурную траву с поля!»

Вспомним еще раз, что Янис оказался после переезда в Беркенеле в полном распоряжении сестры, отданный на милость ей и ее любви, — а любить она умела, как выяснилось очень скоро, только деспотически, так, как и ее самое любили.

Полею битвы сделались азбука, грамота, письмо, книга. Лизе появлялась перед младшим братом как олицетворение сурового долга. Голубенькими неуступчивыми глазами навстречу ей глядела естественная, еще никем не оспоренная свобода.

Раздражение, возмущение Лизе росло день ото дня. Жанчик не желал учиться! Неблагодарный, он не понимал, что ему хотят добра, что его со всей страстью и самоотверженностью тащат к счастью; негодник этакий, он упирается тем сильнее, чем больше души вкладываешь во все это!

Райнис объясняет (из своего взрослого будущего): Джекиншь, он же Янис, он же Жанчик отпихивал протянутую ему книгу потому, что был убежден: его отрывают от настоящего дела! Дело-то — вот оно: жизнь. Лес, пруд, сад, песни гуда Недзвецкого, игра. От всего настоящего, живого его за руку волокут и чему-то выдуманному и

скучному, и притом, кажется, не совсем настоящему, не совсем живому. Райнис употребляет слово «обида». Его обижали: утаскивали силой из-под солнца в тесноту и пыль.

Азбука была немецкая. Слова в ней были немецкие, знакомые тоже с младенчества, но все же не такие родные, как свои, кровные. Чужие слова жестче, строже своих. Нет в них домашней приветливости, а есть что-то от накрахмаленных воротничков, в которых торчат красные шеи самых важных, деревянных от немолодости гостей.

И милая сестра превращалась в неумолимую die Schwester, die Lehrerin¹, не знающую снисхождения и жалости, разом как будто забывающую, что можно друг друга любить.

Отбирали у него солнце, волю, любовь, отбирали сестринскую доброту и ласку, отбирали даже родные слова, а взамен совали под нос бумагу с черными значками. Из смышленного живого ребенка Янис вдруг превращался в тупицу, противного самому себе и вызывавшего отвращение у окружающих. Как тут не заплакать бедному школьнику! Как не заплакать и отчаявшейся учительнице, решившейся любой ценой исполнить свой долг!

Правды пришлось доискиваться. Допытываться пришлось: что же там случилось? Ну, есть новелла «Упрямец». Кто-то разбил стекло, мальчик (Джекинш) уверяет, что не он, строгая сестра убеждена, что он лжет. Требуется всего лишь признания вины — и ничего ему не будет. Но мальчик знает, что невиновен. Страшные сомнения потрясают его юную душу. «Где спасение? Нет спасения». Скажешь правду — сестра накажет. Солжешь — простит. Солгать? И потом уже лгать везде и всюду, когда и где это будет ему на пользу?

В записях, в отрывочных воспоминаниях из детства много раз повторяется: «Не били». «Не секли». «Ни разу не сечен». И на какой-то из десятков тысяч страниц вдруг — огнем в глаза — строка: «Розги единственный раз . . .»

Есть другой рассказ о том же самом происшествии. Это опять-таки не документ в строгом смысле слова, — да и какие могут сохраниться документы о буре, пережитой человеком в раннем детстве?

Несколько страниц в романе Аспазии, жены Райниса. Роман «Осенний соловей» написан и опубликован уже после смерти Райниса, в тридцатых годах XX века. Много раз и по разным поводам писательница утверждала, что в романе изображены действительные события. Так оно и есть. Память у Аспазии, в особенности там, где речь о ее любви, о ее друзьях, недругах или обидчиках, цепкая.

В романе поэт изображен под именем Ярмутс Асминс.

«Видите ли, — промолвил Асминс, — когда-то я был этаким ласковым мальчонкой, которого солнце гладило по головке, точно птенца. Милому боженьке я верил тогда, как отцу родному . . . у отца-то никогда не было для меня времени, вечные дела. Не оставалось для меня времени и у матери. Моим воспитателем сделалась старшая сестра; отравленная ранней горечью, она была со мной строга. Второй сестре предстояло еще подрасти, она была на пять лет младше меня.

¹ Сестра, учительница (нем.).

И однажды произошла катастрофа, повлиявшая на всю мою жизнь». (Дальше — уже известная нам история: разбитое стекло... нет, пропавший моток ниток; короче, мелкая провинность, ставшая поводом для дальнейшего.) Дальше — предложенный сестрой выбор («солги — и тебе будет хорошо, не ври — и тебя накажут»). «Какая борьба кипела в бедной мальчишеской душе! Как трепетала слабая неокрепшая плоть перед розгами, которые уже злобно приготовляла сестра! Я остался при моей правде. И тогда сестра задрала мою одежду и излупцевала — да так, что рубцы выступили... Ни звука я не издал, и это раздражало сестру еще больше».

Это все рассказывает молодой талантливый журналист, редактор популярной латышской газеты, женщине, в которую он влюблен и доверие которой он хочет вернуть после серьезной, может быть, даже и роковой, размолвки.

Пожалуй, можно поручиться за то, что каждое слово тут было сказано молодым Райнисом молодой Аспазии. «Тихим я стал после этого, очень тихим. Может, другой ребенок поступил бы как-то иначе, нашел бы случай объясниться, но мне не хватало энергии. И что мне оставалось? Стать лжецом, научиться выскальзывать отовсюду, как гладкая рыбешка проскальзывает сквозь ячеи сетей, или же возненавидеть всех и вся? Трудно ребенку жить ненавистью, любовь необходима ему, как материнское молоко».

— Я тоже это знаю, — вставила Арта (героиня романа «Осенний соловей», без спору — автопортрет Аспазии).

— Тогда, — продолжает Ярмутс, — я отказался от любви, согревающей, как согревает солнце. Я стал искать спасения в себе самом. Распитие в себе энергию.

— Возможно ли это? Ведь вы были совершенное дитя? — спросила Арта, глубоко тронутая.

— Я начал с того, что понемногу заглушал в себе инстинкты, которые могли бы вести в сторону или ослабить мои силы. Например, я любил сладости и мог бы получать их сколько угодно, но я себя пересилил и от лакомств отказался. Мне хотелось бы разгуливать в модных одеждах, сапогах, в шелковой рубашке с богатым поясом, в духе тогдашнего народного романтизма. Да и отец мой был бы не прочь меня таким видеть, но я преодолел и это искушение. Я понемногу отбирал у себя все, оставляя лишь самое необходимое, чтобы научиться владеть собою, чтобы можно было сказать: «Да, я сам, я сам себя создал».

Если бы я не знал, что этот ребенок делается Райнисом, я нашел бы неласковое словцо для этого самоедства.

Новелла Райниса «Упрямец» и рассказ Ярмутса Асминса, то есть того же Райниса в романе Аспазии, различаются в деталях. В новелле поэт умолчал о розгах. Об экзекуции, которая и есть суть катастрофы.

Катастрофы? Ну да. Ведь не мое же это слово, — его. Его слово, его ощущение, тут надо довериться прочитанному. «Катастрофа, повлиявшая на всю мою жизнь». На всю его жизнь.

Есть такой способ рассказывать что-либо: преувеличивать все ради пущей выразительности, употребляя только крайние выражения. Говорить не «большой», а «громадный», не «маленький», а «малюсень-

кий», не «быстро», а «молниеносно». Кое-чего рассказчик этим добивается, но эффект недолог. Утерев полутона и пропорции, от всей шкалы градаций оставив только один и другой край, мы обедняем событие и впадаем в однообразие.

Райнис как художник знал цену точности, он не сказал бы об умеренно теплом: страшно горячо, обжигает; никакие поиски выразительности не заставили бы его уйти так далеко от реальности. В «Упрямец», помните: «Где спасение? Нет спасения». Автор преувеличивает? Наоборот. Не решается сказать о самой непереносимой боли, об унижении, которого никогда не забывал.

Среди записей, относящихся к раннему детству.

«Два кризиса. —

Кровавый застенок.

Упрямец.

Первая любовь в Оландерне.

Первая любовь, конечно, тоже кризис.

Об одном рассказано.

Еще два.

Да нет же, не рассказано о первом кризисе из трех. Простите, я еще добавлю, это недолго.

Происшедшее не казалось ему безвыходным. Оно было — для него, такого, каким он уже был, — безвыходным. Выхода и не нашлось. То беззаботное и всех любящее, ласковое дитя в несколько минут перестало существовать, погибло. Из тьмы, из полной гибели явилось на свет новое существо. Тихий, очень тихий мальчик. Решивший раз навсегда, что не приходится ни от кого ждать спасения, что надо жить в одиночку. Чтобы не зависеть от взрослых, совсем ни от кого не зависеть. Вот здесь его характер выявился и, может быть, окончательно определился.

Пережитый слом, что-то вроде мутации, оказался началом длинной цепи. Жизнь этого человека выстроится как ряд почти отделенных друг от друга, почти заново начинаемых каждый раз жизнью. Причем каждый раз возрождение, воскрешение в новом облике будет происходить как бы через смерть, через трагедию очередной безвыходности, очередной волчьей ямы. Свет будет рождаться из сгущения мрака. Из самой густой и концентрированной тьмы. Он скажет об этом в стихах. (И почти слово в слово запишет то же и примерно в те же годы его русский современник, Александр Блок.)

И вот что напишет Джекинш, Жаныньш, Жан, Янис через много, много лет; да отчего же не подсчитать? — через 40.

Запись в дневнике Райниса 23 февраля 1913 года.

«Что у меня было, что осталось от материнской любви, от любви отца, от любимой? Никогда не умел я ни всего выслушать, ни все сказать, — а что говорил, того не понимали. Я оставался чужим. Никогда никому я не мог довериться до конца, не боясь, что заветное твое подвергнут осмеянию. Жертвовать — всегда умел, но это вовсе не то, что доверие и самоотдача, отдача своей личности другой, другой, чтобы выйти без всякой боязни из своей скорлупы. Народ . . . и даже дело мое — не понимают меня, я становлюсь и для них все более чужим, сам в себе вырастая. Есть ли надежда, что найдется когда-нибудь тот, кому можно открыться?»

Начало этой черной горечи — в истории с разбитым стеклом или там с клубком . . . трудно вчуже поверить, сколько там разлетелось вдребезги, запуталось насмерть.

Ну вот, теперь кризис № 2. Кровавый застенок.

Вспомним: здание, замыкающее усадебный двор справа. Окна маленькие, как свинячьи глазки, забраны решетками. Там секли латышей. Терпение, читатель. Одно или два отступления.

Страх не нуждается в словах и словам неподвластен. Выразить его в слове нельзя, можно только пытаться описать. Так рассказывают о слышанной музыке, заведомо зная, что даже крупница музыки к словам не пристанет.

Страх — разновидность боли, не телесной.

Жалок человек, который позволит страху затопить душу, отдастся на его милость раньше смерти. Да ведь жалок и тот, кто поддастся любой из других страстей, нас подстерегающих. И властолюбие, и вожделение, и ненависть к чужаку, доведи их до края, — а край в каждой страсти близок, — способны извергнуть человека из числа себе подобных: превратить в чудовище, в котором он и сам себя не признаёт.

Страх — депеша из самых отдаленных поколений. Послание, оброщее по пути добавками и исправлениями и в то же время отправленное словно только что: каждая буква свежа и чернила не высохли. Впрочем, какие чернила. Кровью пишутся такого рода послания.

В раннем детстве — таинственным обиталищем тогдашних страхов и соблазнов — темнеет старая рига в Рандене, чертова рига. Там, в ее нескончаемой глубине, копошится нечисть, одинаково отталкивающая и притягивающая. Сказка витает над ветшающей постройкой, соединяет землю с пеклом, незнакомое с невидимым.

Лишенные воображения не знают, как призрачны на самом-то деле осязаемые предметы, насколько ненадежна и мнима их вещественность. Самая простая песня живет дольше и стакана и табуретки. Будущий воздух незанятого пространства уже ждет, скоро он заполнит место всех этих построек в Рандене: и дѳма, и амбара, и сарая: там, где конек крыши, если хорошенько присмотреться, увидишь свободно кипящую в вышине иву: семечко ее уже упало в прореху крыши, к весне прорастет. Люди, нимало не тяготясь, несут внутри себя скелеты и черепа, которые рядом, близко, в полутора метрах от этой травы переживут их на тысячу лет. Что реальнее: эти недолгие люди? Их долговечные кости? Или их выдумки? предчувствия? фантазии? прозрения? В том числе и крылатая, хвостатая, рогатая рать, выбравшая входом и выходом из одного мира в другой тьму старой деревенской риги? Что надежнее: дом в Рандене, от которого, мы знаем, через несколько десятилетий не останется и следа, или жадный испуг маленького Яниса, заглядывающего в приоткрытый зев старых скрипучих ворот?

Но страх страху рознь. Пережитое Янисом однажды в Беркенеле требует, может быть, другого имени.

Новый дом следовало облезать, исследовать снизу доверху, до самых тайных углов и закоулков. Рано или поздно он набрел бы на зловедущий застенок. И мог не понять, что там такое, а мог и стряхнуть недоброе впечатление, помотать головой и забыть.

А что было-то? Да ничего . . . почти ничего. В каменном, с маленькими, как свинячьи глазки, окошками, глухом строении, поднявшись по неосвященной лестнице, Янис набрел на то место, где при помещиках секли мужиков, где свистала плеть и ключьями отлетала кожа с костлявых спин. Мы никогда не узнаем достоверно, почему таким внезапным ударом оказался для него этот случай: Янис никогда больше не возвращался туда, но и через полвека память возвращала ему неосвященные крутые ступени, вроде бы липнувшие к ногам и пахнувшие человеческой кровью; этот, конечно, додуманный запах был пронзителен как крик. Точно крик, до половины пронзительный, а с половины чем-то придушенный.

Нет, все три кризиса я поменяю местами. Райнис их не пронумеровал и нигде даже и не заикнулся, что чему предшествовало. И мы вольны себе представить, что вначале была любовь.

Влюбленному семь лет.

Чтобы читатели не слишком важничали, не слишком высокомерно поглядывали с высоты своих возрастов, приведу запись Райниса. «Полная картина мира, громадная. Мир детей, отдельный, замкнутый, недоступный для взрослых».

И еще немного мелких воспоминаний, деталей, чтобы легче было себе представить этого голубоглазого Яниса. «Когда нажмешь на веко или когда посмотришь на яркий свет — в глазах вспыхивают огненные круги, многоцветные звезды. Я это часто проделывал в детстве».

В доме натуральное или, как он пишет, «почти феодальное хозяйство». Сами варят мыло, льют из воска свечи, делают крахмал. И уж, конечно, сами готовят сметану, творог, масло, сыр.

В погребе стоят огромные горшки со сметаной. В одном завязла муха. Сердобольный мальчик решает вызволить пленницу и — бухается сам в сметану, весь, «с ногами» . . . Из чего видно, как велики были горшки и как мал мушиный заступник.

Не так-то все просто с десятью заповедями. Опять он вспоминает тот случай: молитва и — половодье, пошедшее на убыль . . . «Молитва исполнилась; не лгать, исполнять заповеди — не исполнилось». Сбоку добавлено: «Рождается тревога».

В памяти человека, делавшего эти отрывочные заметки о своем раннем детстве, человека, которому пошел тогда шестидесятый год, резких перегородок между воспоминаниями более близкими и дальними не было. Вся жизнь его, как угли под первым легким пеплом, светилась и могла прорваться язычком огня там и сям, почти независимо от его желания. Впрочем, и он решал — к какому краю подойти, куда подуть.

«Борьба — между проявлениями своей же воли, разнонаправленными; детей — между собой.

Борьба с препятствиями в природе.

С взрослыми, не понимающими — не признающими — притесняющими . . . Одиночество.

Мать — помощь, спасение, друг — пассивный.

Взрослые — недруги, притесняют; отец и то и другое: друг и недруг».

Либа . . . Это кто-то из домочадцев. Дальняя родственница, приживалка? Девушка из работниц? Многократно повторяется запись: «Либа и грех». «Либа прививает понятие греха, не полученное в свое время». (В нем самом?) — «один закрывает глаза, другой смотрит». Потом одно слово: «грех», отнесенное к Беркенеле.

«Я наблюдатель. Все вокруг оставалось как бы посторонним, не принадлежащим ко мне. Я был тот, кто видит, оставаясь незримым. Мои сны: часто летал по воздуху. Природа во сне».

Здесь уместно уведомить читателя, что Райнис, подобно Иосифу, одному из любимейших его героев, был сновидец: сны его значили, предвещали нечто и нуждались в толковании.

Все возвышалось над ним. «Все было велико чрез меру. Травы как бревна. Понемногу вырастал, оказывался вровень с другими, но тогда недостижимы, как прежде, оказывались деревья, и облака, и солнце».

Какая-то перенесенная в детстве болезнь, наверняка тяжелая и с бредом: все время рядом, парой стоят слова «болезнь» и «насекомое».

В это время все вокруг говорят о войне пруссаков с французами; общие симпатии на стороне французов, но они проигрывают. В семь лет его окружают воспоминания об этой далекой войне, ее отголоски, и еще более дальние отголоски «польского бунта», и рассказы про какую-то колдунью, которая пряталась по овинам . . . Женщина-оборотень, ведьма . . . потом вдруг вышло, что не колдунья, не ведьма, не оборотень — а польская графиня; ее разыскивали власти, хотели, наверно, казнить, как несчастного графа Платера, а она скрывалась — где-то недалеко от них.

Молодой еврей-маляр, тот, что пел песню про Платера, нарисовал на печи лошадь и пса, кусающего ее за хвост.

Лошадь мчится, грива по ветру. Пес догоняет.

Пес зотот, на картинке, был вылитый Мардан. Любимая, отважная, верная собака. Мардана задрали волки. Янис долго не мог утешиться: при его одиночестве друг, пускай четверолапый, значил так много.

Захожий рыжий маляр вернул Мардану жизнь. Пес бежал на картинке, такой же неумный, отважный, быстрый, как прежде. Нет, это была не та прежняя — другая какая-то, но жизнь, над которой никакие волки не властны.

«Всюду талдычат о не то чтоб аморальности ребенка, — он и не знает ничего о морали, — но об его дурных инстинктах, эгоизме, кровожадности, склонности мучить животных . . . Ничего этого я не помню, у меня этих дурных инстинктов не было. Может быть, это покажется сентиментальным? Но надо говорить правду».

«Меня никто не растил: сам рос, становился собой».

Теперь мы немного больше знаем о семи-восьмилетнем мальчике, который вот-вот встретит соседку, пятилетнюю Иду Марту Апсанае. И одновременно, прошу заметить, мы узнаём и всего человека, все его возрасты и состояния. Детство, молодость, зрелость, старость, рождение и смерть этого человека почти одинаково далеко отстоят от нас, и хорошо видно, как они взаимопереплетены, как они объясняют друг друга, дополняют и высвечивают. Только тот, маленький Янис — губка впитывающая, а этот шестидесятилетний — губка, отдающая впитанное. Одна и та же память тогда брала, а теперь отдает.

«Понемногу пробуждается память светлое пятнышко становится четче разделяются оттенки, краски, линии и — ясной картиной выныривает мое детство. Так из света и солнца вновь рождаются слитки жизни: тут вот — согласно моей воле, а там, глядишь, и без понуждения, сами по себе».

«Сами по себе» в записях Райниса возникают, повторяются записи о Лунной дочери, пятилетней Иде.

Помню, меня когда-то озадачивало это словосочетание, дочь Луны. Не слишком ли изысканно? — думалось в некотором смятении.

Я еще не знал тогда, что добрую тысячу лет латышская народная мифология женит Божьих сыновей на дочерях Солнца; что в дайнах живут с незапамятных времен Мать Земли и Мать Ветров, Мать Моря и Звездная дочь.

В этом ряду и райнисовская дочь Луны — она тоже пришла откуда-то из песен, слышанных Янисом от матери в чутком полусознании младенчества.

За этим светом, за солнцем,
И за самою собой —
Солнцеволосая дочь Луны:
Трепет, сиянье зеленых глаз.
Вешний ранний цветок. На стебле —
Пять лепестков — то твоих пять лет.
Видел под солнцем, под месяцем вспомнил
В долгой, долгой моей ночи . . .

это — первое воспоминанье изгнанника, возвращающегося из далекой ссылки; приближаясь к дому, измученный, рано постаревший человек был, точно вспышкой, освещен этим пробившимся издали взглядом: смотрела пятилетняя Ида Апсанае, глаза ее как были так и остались совсем зелеными.

Ее отцом был Екабс Апсан, арендатор, живший неподалеку, в Оландерне (немецкое название усадьбы — Дидрихштейн); соседей разделяло не больше двух верст. Плиекшан и Апсан дружили домами. Когда родилась Дора, в 1870 году, Екабс и Анна Апсаны были ее крестными. И второе имя Доре было дано в честь ее крестной: Анна. Есть одна запись у Райниса о том, что семейство Апсана как-то «долго гостило» у них.

Ида Апсанае была, может быть, первым ребенком, с которым мальчику Плиекшану позволялось говорить, играть. Одна его сестра была уже взрослой. Другой — Доре — было всего два года, и она

оставалась с мамой, в Рандене. А с батрацкими детьми хозяйскому сыну водиться было, как мы знаем, заказано.

С тем большей силой должно было вспыхнуть в Янисе восхищение при первом же взгляде на златоволосую гостью.

Любовь на восьмом году жизни сделала Яниса личностью, хотя он этого, может быть, не подозревал и уж точно не думал такими словами. Нужен другой взгляд, чтобы осознать себя самого. Когда кто-то золотоволосый смотрит на тебя снизу вверх весело и доверчиво и видит, какой ты умный, сильный и надежный, какой ты ловкий, прыгучий, — только тогда впервые видишь и ты сам себя. И если бы ты был не ты, а солнце, глядящее с высоты небосвода, то и тогда ты не увидел бы зорче и яснее себя — в окружении лесов и озер, полей, дорог и тропинок, и таких же тропинок, только невидимых, пробитых в воздухе птицами . . . — и так же они там перекрещиваются, расходятся.

Песни сделались вдруг понятнее, проникли внутрь тебя; песни, оказывается, не годятся для нелюбящих, они проходят поверху и дальше, ища людей, в которых им можно кануть, уйти в глубину. И жальче вдруг стало всех, кому плохо, и захотелось поделиться с ними со всеми чем-то, чего у тебя ужасно много . . . Янис жалел почему-то даже отца — и не усталого или задумавшегося, а как раз быстрого, насмешливого, деятельного. И сестру Лизе, то считающую, то погруженную в мечты: посчитать бы, что ли, за нее! — отец и сестра были беднее его на то самое, чем он был так невозможно богат и чем не умел поделиться.

Я взялся рассказывать о жизни Райниса по порядку, но передо мной-то, нужно сознаться, эта жизнь, вернее, все эти семь жизней стоят не чередой, не цепочкой, а все разом, одновременно, и я очень хочу, чтобы это ощущение и это видение постепенно передавалось читателю. Я уже заговаривал об этом, но не умел объяснить до конца. Обыкновенная человеческая память устроена так, как мне нужно. Она не разложила по полочкам все, что с вами было, не отделила предшествующее от предыдущего, не систематизировала, не приколола каждый шаг и жест в порядке поступления, как жучка на булавку. Все, что она соблаговолила сохранить, свалено в блаженном беспорядке; что она захочет, то и вынет и покажет вам; или вы сами, приложив усилие, разыщете необходимое. Но сила и яркость былых событий не зависят от их отдаленности во времени, и ниточки причин и следствий оборвались и перепутались; как во сне, время стоит или течет вспять или движется по-другому, чем мы привыкли, и во всем проступает смысл, ясный и грозный, но перед которым паует дневной деловитый рассудок.

По этой логике, в этом-то свете мне нужно тут же, теперь же рассказать историю о том, как Екабс Апсан в Динабурге забрел в т а к о й дом, к т а к и м женщинам и как обительницы этого заведения обчистили арендатора, так что он проснулся с отвратительным вкусом во рту и без гроша в кармане. Тривиальнейшая история? Ну да. Только вот отец Иды Апсане после этого стал заговариваться; что-то в нем сломалось после этого происшествия и уже никогда не поправилось. Точной даты не знает никто (теперь; тогда знала, помнила вся округа; вот уж кумушки языки почесали . . . от одного этого можно было спятить! А ведь и деньги, по копейке, по рублику собранные, выжатые, как масло выжимают из льняных семян, трудно давшиеся деньги те-

рять так нелепо, так стыдно, так мгновенно . . . нет, было на чем спотыкнуться положительному и неспешному уму Екабса Апсана, было от чего загрустить его жене Анне!), но ясно, что происшествие относится к временам более поздним. Нам же оно понадобилось здесь. Терпкая проза этой крестьянской трагикомедии почему-то необходима прямо рядом с благоуханной поэзией Яновой первой любви, с чистой и прелестной двух детских взглядов, встретившихся лет сто двадцать назад и — вот они — не отмененных протекшими временами ни на секунду, не потерявших ничего от первоизданности тогдашней; два взгляда, зеленый и синий, вот они смеются и радуются, и отвлекаются вместе на подбежавшую собачонку, на крутящийся в той же беспричинной радости куцый хвост.

И где-то рядом с пятилетней Идой Апсанае она же, четырнадцатилетняя, они не знают и не видят друг друга, а мы видим и знаем обоих. Школьница Ида живет в пансионе вместе с младшей сестрой Яниса Дорой. У бедняжки Иды нарыв на пальце — она весь день плачет и стонет.

Янису в это время 16, он учится в немецкой гимназии в Риге. О несчастье Иды Апсанае он узнает из письма своей сестры. Вот он сидит, отвечает. «Скажи Иде, что мне жаль ее бедный большой пальчик, и я желаю, чтобы он побыстрее выздоровел. Ну, а теперь сердечный привет всем и Иде в особенности (хотя бы потому, что одна она передавала привет мне) и много поцелуев тебе. А если еще какое дитя человеческое, за исключением старого и противного¹, пожелает, то я ничуть не против!»

И могила, ранняя могила Иды Марты Апсанае — там же, на расстоянии каких-то шести быстрых, мгновенно и давным-давно пролетевших лет. Лизе в письмах довольно часто рассказывала брату об Иде; поддразнивала какими-то претендентами на руку его — как не забывала Лизе прибавить в шутку — «бывшей невесты». Но внезапная короткая болезнь и гибель навсегда оставили Иду «за этим светом, за солнцем и — за самою собой». И когда поэт Райнис, преследуемый всесылным государством, снова принужден будет бежать из Латвии, кто помахет ему вслед? Сорокалетнему — пятилетняя дочь Луны, Ида. Семилетнему (в сорокалетнем) — пятилетняя.

Поднял меня не рывок паровоза —
Ты, единственно ты!
Сердца нагого коснулась ручонка,
Легкие пальчики — дочка Луны!
Детства земля
Говорит мне еще раз: прощай!

Вслед за блаженным потрясением любви ждали его т е два кризиса.

Нет, все-таки еще несколько слов о ней, о любви. Не она ли соединила однажды рассеянную радость тех ранних дней в мощный пучок света? Дом Яниса был довольно строгий, не знающий сантиментов дом. Отец в буквальном смысле слова делал деньги, лепил их из не принадлежащей ему земли, из своего и чужого пота: выматывал себя и других и, пожалуй, не мог иначе. Мать таи и оставалась в другом,

¹ Эти последние слова относятся к фрау Мюллер, содержательнице пансиона: когда-то и Янис жил у нее, и теперь брат и сестра, обмениваясь впечатлениями, любили над ней подшучивать.

прежнем доме на берегу Даугавы. Старшая сестра везла на себе усадьбу, кормила семью и работников, обшивала, делала покупки, стирала; выгадывала каждую копейку, считала, считала и считала. Да, Кришьянис Плиекшан ворочал тысячами и изредка мог позволить себе широкий, размашистый жест, — но будни семьи состояли из мелочных забот, неотлучных от вынужденного, вымученного крестьянского скопидомства. Да, конечно, Янис чувствовал свою неотторжимость от матери и маленькой Доры, но теперь они были далеко. Отец воздвигался иногда перед глазами как башня и снова отдалялся, уходил, уезжал, а Лизе — считала, считала . . .

Нет, все в доме были необходимой частью его жизни, но он не способен был удивиться этому, вдыхал обыкновенную, причитающуюся ему любовь: кто удивляется вдыхаемому воздуху? Нет таких чудачков.

Вместе с горячей нежностью, испытанной им впервые при встрече с пятилетней Идой Апсане, он впервые почувствовал, что можно любить другого, не принадлежащего тебе и твоему дому человека. Все твои — это ты сам, твое продолжение, или ты их продолжение, не все ли равно. А это золотоволосое создание явилось извне, и жизнь отозвалась сиянием, о котором в обыкновенной действительности, кажется, никто не подозревал. Твое существование доводилось чужим и отдельным существованием до какой-то дивной полноты, и все, что жило вокруг разрозненно, насытилось общим, всеобъединяющим смыслом. Девочка ничего нарочно для этого не делала — так, смеялась, лепетала что-то, смотрела, бежала, останавливалась, касалась твоей руки . . . а деревья, постройки, муравьи, телята, люди вдруг связывались в цепочку, как слова в речи, и тоже становились частью тебя, частью друг друга, частью чего-то, что было высоко над ними всеми, и над тобой тоже.

Праздники ожидания прибавились к огромным гулким пространствам начинающихся по пробуждению, непредсказуемых дней. А вдруг Апсаны придут? Или все вместе поедем к ним в гости? И мало ли что еще могло случиться в новом мире, перекроенном любовью. И привыкнуть к этому нельзя, и понять нельзя: что ж в этом другом человеке такого, каким таким ключиком он открывает в тебе смех и бессмысленное, победное торжество; почему хочется прыгнуть высоко-высоко, и кажется, достанешь ветку сливы, до которой взрослому-то не дотянуться. А когда тебе удастся рассмешить ее, то потом целый день помнишь, как ты замечательно ее рассмешил . . .

Посреди безбедного, ясного, богатого людьми и событиями, но особенно красками, но особенно звуками, дивного детства мальчик провалился, как в западню, как в замаскированную волчью яму, в «случай» с сестринным наказанием. Он ощутил происходящее как безвыходность («Где спасение? Нет спасения!»). Нельзя было выкарабкаться из ямы без посторонней помощи. Он протягивал вверх руки, он хватался за осыпающиеся стены, лез к просвету, а навстречу склонялось родное лицо, лицо сестры, как бы замещавшей вечно занятых мать и отца, воплощавшей все родное. Склонялось над ним, как во сне, это родное лицо, и дышало оно злобой и непреклонностью, и руки, руки ее, такие знакомые, столько раз гладившие его волосы, тянулись не затем, чтобы вытащить, а затем, чтобы столкнуть вниз, на самое дно, — но и дна не было, проклятая ловушка сообщалась с той бездной унижений, боли, несвободы, из которой пытались выкарабкаться по меньшей мере двадцать поколений его народа.

Два кризиса («кровавый застенок», «упрямец») сливаются в один. Только один раз Янис был в том доме с маленькими зарешеченными оконцами, с лестницей, липкой от крови. Кровь была пролита давно — и только что. Это была все та же кровь, что и к нам липнет, и никак не отмыть ее, не стереть, хочется — не выходит. Здесь пытали и мучили. Только один раз! — а память все возвращала и возвращала ему неосвоенные крутые ступени.

Нам-то что до тех обид, почти безобидных? Мы, столько знающие о камерах Моабита и Лубянки, о газовых печах, о науськанных на узников овчарках, о затопленных вместе с эсками баржах, — мы-то склонны подозревать, что помещицы жестокости это так . . . семечки. Ловишь себя на том, что хочется найти отдохновение там, в дымке веков, в простоте, в патриархальности, уже недостижимой.

Но нет: кровь и там дымится. В 1872 году не все и не всё помнили хребтом, но уязвленная до рождения душа помнила и кровоточила. Эти плети могли гулять и по нем: наказывали по приказу господ и немцев, казнимые были крестьяне и латыши.

Те рубцы прибавлялись к рубцам на тоненькой коже его спины. Сегодня трудно представить такую силу сопереживания. Непрерывным потоком обрушиваются на нас рассказы о чужих несчастьях, столкновениях, искалечениях, смертях, о бесконечной пытке, творящейся вблизи и вдали, в настоящем и прошлом. Янис Плиекшан жил еще действительными событиями, жизнь была равновелика тому, что видели глаза, что слышали уши.

Да ведь и не только же сейчас, не только же семь лет назад он родился? Знание о всех столетиях своего народа живо было в его крови; это знание, присутствующее в человеке с первых его дней, в младенчестве наиболее свежо и полно, а с годами притушивается, его заносит помаленьку китайской пылью, песком дорог. Семилетнему Янису предстояло вырасти и сделать поэтом своего народа. Не в обыкновенной степени надлежало ему поэтому слышать и ощущать в себе ту древнюю, долговечную суть, что прячется в памяти клеток, в маленьких вселенных, пульсирующих в дальних безднах существа, там, где бесконечно малое готово обернуться беспредельным.

Давние сражения, беспомощность, ярость, мощь восстающей, выпрямляющейся из-под в-три-погибели-согнутой, выпростывающейся из-под гнета души, высшие миги и низшие миги, зигзаг молнии, гул и треск пожара, запретная ласка, — лишаясь образа и формы, преобразаясь в некий шифр, — укладывались в непрерывную память поколений. Если бы генную память можно было, не нарушая хрупкой сохранности человека, достать из тех пропастей, извлечь и разложить на составные, расколдовать, вынуть из нее первоначальные касания бытия . . . Нельзя этого. Слава Богу, есть тайны запечатанные. Эти соты с их содержимым не про вас, аналитики, классификаторы, раскладыватели по полочкам, анатомы. Эти тайны и живы-то, пока они — тайны.

Случайно приоткрываются иные из событий, которым надо бы быть в той копилке. Вот так из преджизни поэта Райниса сделался известен эпизод, относящийся к определенному месту и времени.

1445 год. Ливонские рыцари возвращаются из набега на русскую,

новгородскую землю. Из кровавой суеты средневековья выхватим этот миг.

В о д с к о й п я т и н о й называлась та область новгородской земли, куда ходили за добычей ливонцы. Край этот, который немцы называли Вотляндией, уже двести лет не давал им покоя. Вотланды (а по русским летописям — в о д ь) — народ финского племени, — сами по себе дать отпор железным всадникам и их безжалостным кнехтам не могли. Вступятся русские за них, вступятся, когда узнают о набеге, но это когда еще будет! — а пока что деловито, неумолимо работают мечи. Женский визг, детский надрывный плач обрываются на самой высокой ноте. Кнехты хукают при ударе, как дровосеки. Иногда льющаяся кровь слышна, — точно откупорили бочку с вином; кости и сухожилия неприятно трещат, распадаясь. Крики, вой, иногда безумный, возникают снова и снова. Бледность, сильная рвота бывает у новичков, и они потом стыдятся, выслушивая подначки бывалых бойцов. Есть любители именно сверлящего уха, именно что безумного животного воя (похоже иногда кричит задираемая волком, долго-долго терзаемая им в ночь коза). Правда, такие любители почему-то со временем неважно кончают: сламывается что-то в них, внутри. То вдруг голос становится бабьим, то садится на брюхо незаживающий свищ, то глаза гноятся. Нет, воин должен быть храбр, спокоен и деловит, не столько страсти требуется в работе убийства, сколько сноровки.

В этот раз убийство — не цель набега. Ошеломить мирный здешний народец, оглушить, отнять всякую волю к сопротивлению; показать, что спасенья нет и быть не может, что пощады нет и не может быть. Не дай им опомниться — бей! — можешь вращать для устрашения глазами, но можешь и не вращать. Бей, однако, с выбором. Оставляй сначала каждого второго, а потом и чаще, но помни: ни одного испуганного не должно остаться. Бей с умом, заколи никому не нужного старика, а сына его оглуши, не слишком сильно: он пригодится. Теперь гони их, сгоняй в кучу! Оставь в покое меч, н а тебе плеть, не давай гадам передышки, следи, чтоб хотя бы один удар достался каждому; конем, конем тесни! Ты что, в первый раз в облаве? Э-ге-ге-гей, у-лю-лю, — положи их на землю, мордой в грязь; кто там поднял голову? — лишняя, лишняя у него голова; вот так-то лучше, и другие будут умней. Встать! Не понимают по-немецки? Пусть учатся. Встать! Лечь! Встать! Лечь! Еще сто раз! Эти два слова они уже не забудут.

Пыль. Белая какая-то, невкусная, не успевает осесть. Благо первым, открывающим шествие. Но не верится, что где-то там, впереди, ему есть начало: огромной кишкой извивается толпа пленных. Разделить бы их на отрезки . . . Но чем отдельней — тем неуправляемей и уязвимей. И без того приходится то и дело добывать отставших. Сам магистр погоняет жестом братьев-рыцарей, и взмах его руки передается мгновенно, судорогой нового оживления проходя по бесконечной колонне. Спешить, нужно спешить! Слишком неповоротливы немцы, обремененные тысячами невольников; слишком сложно куском пресной лепешки заткнуть все их черные рты. Даже водопой становится предприятием опасным, и уровень их оцепенелости все труднее поддерживать, приходится сызнова подымать планку жестокости, как бы бессмысленной, а на самом деле единственно разумной. Вот на берегу попутного озера очередная дюжина счастливых встает на коленки в месиве из тростника, грязи, ила, только что оставленном их предшественниками. Вот они наклоняются, тянутся вперед как

можно дальше, чтобы губами достать менее замутненную, не такую рыжую воду; животные, право животные! Не верится даже, что каких-то два-три дня назад выглядели вполне по-людски. Хватают и эту ржавую, эту мутную воду жадно, втягивают, как земля после засухи. Все! Хватит! Вы пришли сюда не для собственного удовольствия, доннерветтер! Но очередную партию следует переместить правее, это приказ. Вверху проявлено резкое недовольство. Неужели неясно, что вода должна быть приемлемой? А если после этого питья начнутся поносы, может быть, даже падеж, — кто ответит? К чему тогда весь поход, готовившийся так тщательно и в такой тайне? Достаточно напомнить, что языки тех мальчиков-ливов, что были заподозрены в ненужной осведомленности, отрезаны были с поспешностью почти неприличной. К чему понесенные жертвы?

Пленники были на сей раз целью похода. Люди, здоровые и работоспособные, не понимающие ни слова по-немецки, не могущие объяснить и с другими обитателями Ливонии.

Невольников гнали на строительство в Бауску. Новый орденский замок должен был встать у слияния рек Муса и Мемеле. Здесь проходил напряженный и дышащий вечной угрозой путь на Литву. Уже больше года продолжались земляные работы, отвлекая и выматывая ближних крестьян, без охоты исполнявших затем другие повинности. Замок должен был олицетворять в их глазах и в глазах их последней неприкосновенную тайну, непостижимость воздвигнутой над ними власти. Да и военные секреты будущего сооружения следовало замкнуть от непосвященных с момента замысла: не только немцы, но даже и немцы, вплоть до особ высокого и высочайшего ранга, не должны быть осведомлены о том, что скроют за собой могучие стены. Вот отчего проявлена была небывалая предусмотрительность во всем, что соприкасалось или могло бы со временем соприкоснуться с будущей твердыней.

Захваченные в новгородской земле пленники, потеряв каждого третьего по пути, были наконец приведены к месту в количестве четырех тысяч человек. Их было, точнее, 4093. Однако 093 и считались и не считались. Округление цифры давало некоторую свободу действий, без которой военному человеку нельзя.

Переговариваться пленникам не разрешалось. Стража, надсмотрщики и строительные мастера объяснялись с ними знаками, и понятливость пленника поощрялась некоторым уменьшением побоев, добавкой пищи. С помощью жестов производилось и необходимое обучение. Ни один туземец не подпускался теперь ближе чем за десять верст. Немецкому персоналу рекомендовалось по возможности не беседовать при невольниках: как поручиться, что какой-нибудь чересчур смысленный вотландец не овладеет немецким, ловя его по крохам, и таким образом не сведет насмарку все предосторожности?

Строительство продолжалось еще одиннадцать лет. Судьба пленных до последнего дня не была решена, вызывая обеспокоенность. Уничтожить их всех было задачей исполнимой, но трудоемкой. Вне боя и вызываемого им справедливое ожесточения убивать неприятно: не каждый все-таки родился палачом. Да и негоже принуждать своих же людей к тому, что в других случаях они сами исполняют самозабвенно.

И еще. Три тысячи оставшихся к 1456 году в живых вотландцев могли принести дополнительную выгоду. Это простое соображение все перевесило. Тем более, что принятые меры сделали их действительно как бы глухонемыми. Через одиннадцать лет после пленения они,

правда, как выяснилось, не забыли родной язык, но по-немецки умели вспомнить только два слова: «встать» и «лечь»! Братья-рыцари, узнав о результатах проведенного лингвистического изыскания, очень смеялись!

А потом три тысячи невольников были посажены на земли в Яунсауле и Вецсауле, в Стелпе, Иецаве, Мемеле, Залве, Вецмуйже и Берзмуйже, в окрестностях Бауски. Лет триста к р и е в и н и¹ — так называли местные уроженцы этих людей, — медленно, очень медленно забывали свой язык, всасывались новою средою, сплетались с латышским крестьянством, покуда не слились с ним до конца, неотделимо. И только в названиях домов, заменявших вплоть до середины XIX века родовые фамилии, остались слова позабытой речи. И вот имя дома: Пликшаны — дома, где родился в 1828 году отец Райниса Кришьянис, а около 1788 года — отец отца, Андрейс, — привело ученых к убеждению, что предки поэта происходят из Водской патины и в 1445 году проделали тот самый путь к Бауске . . .

Это давнее потрясение, слом всего предыдущего, всей текшей издревле судьбы, это пленение не могло не отложиться в крови. Может, и эта боль вскрикнула в маленьком Янисе, заставила себя вспомнить при взгляде на пыточную камеру в Беркенхегене? То есть не одна эта, но и она тоже. Рубцы, оставленные на теле предков, молодых и старых, незаживавшие чуть не тысячу лет, все как бы выплыли из-под кожи мальчика, обозначились на ней; мудрено ль, что боль оказалась нестерпимой.

И холод был за тем порогом . . . сквозняком потянуло подземным, замогильным; я всегда чувствовал в воспоминаниях Райниса об этом посещении тот промозглый, власы вздымающий ветерок.

А мог бы мальчик не забрести в эту самую пыточную? Не открыт никогда единственную заповедную, запретную дверь? Н-ну, это едва ли. Кто сам был ребенком, припомнит и согласится: едва ли.

А тогда так: могло ли не быть в Беркенеле этой проклятой камеры? Мог достаться семейству дом без такого сюрприза, — так сказать, без привидений?

Это да. Это конечно: мог бы.

Но однажды Янису встретилось бы что-то другое в том же роде. Не могло не встретиться. Рабство, не изжитое к его рождению, сброшенное не до конца, вылезало из вещей и лиц; живы еще были люди, помнившие все ободренным мясом спины. Жив был страх одних и уверенность других в наследственном праве внушать встречным страх и подобострастие. Чей-нибудь рассказ или другая пыточная в другом доме или насмешка господского сынка, — что-то да столкнуло бы мальчика рано или поздно лицом к лицу с этим же самым и потребовало бы ответа.

А нельзя ли было ему не волноваться эдак, сверх всякой меры, не белеть лицом, не мотаться ночью в короткой своей кровати, не мучиться увиденным и услышанным так, словно его колесом пере-ехало?

Можно. Можно было мальчику эдак-то не волноваться. И никто не вздумал бы осудить его. В конце концов почему те давние розги

¹ По-латышски русские — krievi. Плонник строителей Бауского замка называли тем же словом, но с уменьшительным суффиксом. Это, должно быть, оттого, что они были из русской, новгородской земли.

и плети должны его касаться? Наказываемы были непокорные и ленивые мужики — он, сын богатого арендатора, существо другой породы. Да и когда все это было . . . они все умерли или уехали — те, кто приказывал, те, кто бил, те, кого били. Прошлое прошло, и, глядя трезво, кровь на ступеньках просохла еще до его рождения.

Многое решалось в те минуты, и никто не мог решить за него. И оправданий никто бы от него не потребовал, ни люди, ни даже ангелы небесные. Он был вправе отмахнуться. Выкинуть из головы, перешибить увиденное одной из любимых фантазий — из тех, что безошибочно и разом отсекают неприятные мысли: проверено.

В том и состоял выбор. Принять ли на себя чужую муку, позор и унижения, гнев и ужас. Считать ли ее, эту муку, чужой. Смешно предполагать, что решение принималось мозгом. Первой реакцией всего существа — нерассуждающей, как судорога, — он уже отвечал на вызов. Правда и то, что он волен был еще застесняться этого первого движения, подавить его. И в восемь лет в человеке может возобладать разумная осторожность. Всего-то и следовало отречься от теней, от родных теней. Тень крови осталась липкой, но и она была только тень, и выбор все еще оставался.

Да мыслимое ли это дело? Неужели в таком-то возрасте, на такие-то слабенькие плечи уже взвалена такая ответственность, такая страшная, многовековая тяжесть? Да. И перерешить вот тут, вот сейчас решенное, похоже, уже не будет дано.

Но и кажется порой, что выбор сделан еще раньше. Кровь пращуров вскрикнула, отозвалась в нем первой; но если б она промолчала или не была услышана, то был бы заведомо другой человек. Нетрудно представить себе этого другого человека в предложенных далее, известных нам обстоятельствах. Скорей всего он был бы преуспевающий адвокат, старающийся как можно основательнее и искренней забыть о своем мужицком, о латышском своем происхождении. Впрочем, что нам гадать о судьбе того другого, все-таки не бывшего человека? Был-то — этот.

И когда те самые незримые рубцы и впрямь выступили на детском тельце физически, въявь, — все предшествовавшее, предыдущее тогда же стало казаться ему раем. Блаженством, почти ничем не разбавленным, потоком света и тепла, который как бы должен был уравновесить все дальнейшие испытания . . . плата вперед за мрак и труд грядущих десятилетий, а может — приманка, червячок на крючке? И вот ожог, жуткая боль: крючок впился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Первая школа.

Первые в жизни связан с другими детьми.

Книгу показывают дети, а у меня с собой книжица такая тоненькая, что и показать стыдно.

Езда на козлах: в глаза сыплет градом, огненные искры под копытами лошадей».

Ну вот. Лошадь, как мы и думали, была не одна. Из Беркенеле в Египет мальчик ехал на козлах.

— Тпрр-ру, приехали!

Их встречают. Все обитатели дома высыпали наружу . . . Минут

через десять, уже в доме, дети похващаются — покажут ему красивую большую книгу. А он застесняется своей — жалкой, тоненькой.

Мы вернулись к тому месту, с которого начали. Мы в Египте.

«Сынов же у Иакова было двенадцать, — читаем в Книге Бытия. — Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нём Симеон, Левий, Иуда Иссахар и Завулон.

Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Наффалим.

Сыновья Зелфы, служанки Линой: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии».

И еще от Лии, первой жены, была у Иакова дочь Дина.

У пастора Свенсона сыновей было шестеро, а дочь тоже одна, Берта.

Библия занимала место в каждом доме, в каждой памяти оставляя что-то. Она была предисгорией и как бы фоном всякого существования, источником сопоставлений, сравнений, занимательных и устрашающих рассказов, поучений; тем, кто жаждал мудрости, — даже и не так чтобы верующим, — она заменяла в деревне историю и географию, астрономию и философию. И азбуку тоже. Большинство учились читать по молитвеннику, Евангелию.

Второй библией для латышей была песня. Песня и сказка. Ветхозаветные и евангельские страницы были общими для всех, для множества народов, соседних и отдаленных; про Адама и Еву можно было поговорить что с немцем, что с русским, что с польским шляхтичем, что с гудом-плотовщиком.

Песни и сказки были свои, отдельные, намертво спаянные с вкусом материнского молока, с колыбельным, еще дословесным напевом . . .

В доме пастора, в пасторате с таким названием должны были помнить чаще других чудесную историю про Иосифа, любимого сына Иакова, проданного в рабство в Египет и сделавшегося там могущественным вельможей. И другую, евангельскую — про то, как спасалось в Египте святое семейство, спасало младенца Христа. Может быть, в этом доме обе истории помнили наизусть.

Первая — длинная и похожая на волшебную сказку. Вторая — короткая. Вспоминали, наверно, поминали в разговорах и ту и другую.

Тосковал ли пастор Свенсон по Элизе, как библейский патриарх Иаков по любимой жене своей, умершей при родах Вениамина Рахили? . . .

Братья Свенсоны не были его братья. И сестра их Берта не была его сестрой. Не были, но и были. Не была, но и была тоже. Даже Лизе, отделившая от Яниса одиннадцатью годами возрастной разницы, отстояла от него дальше, чем Берта, почти ровесница.

Сплоченным родством, поданным общим горем, братья Свенсоны противостояли чужаку. И табуились к нему.

Кровное родство сближает до того, что вот-вот уничтожит преграду кожи, отдельность каждой: еще чуть-чуть . . . но нет, изнутри этой же близости бьют силы отторжения; любовь, отвернувшись на миг, поворачивается опять к тебе, — но что это? У нее другое лицо, другое — и то же, умеющее, оказывающее, быть и таким, переноруженным не-

ненавистью. (И опять, ахнув, он спрашивает, может быть, во сне: Лизе, почему ты так смотришь? Как ты можешь сделаться такой жестокой? неслышащей? чужой? Нет, не докричаться. Я люблю тебя, слышишь, Лизе? Я хочу тебя любить, не мешай мне любить тебя! Не слышит. Заткнула уши, сама чуть не плача от непонятой, обманутой любви . . . если это называется так, а не вовсе иначе.)

Дружной, от сиротства сбившейся почти в единое целое толпой встретили мальчики-Свенсоны новичка. Им, конечно, внушали, что нужно его привечать как гостя, как друга. Но слова не так всемогущи, как кажется взрослым, когда они говорят с детьми.

Чужак притягивает к себе неудержимо. В своих все знаешь, как в самом себе (в самом себе? знаешь??) — а в нем все ново: и походка, и голос, и смех.

Оттолкнуть! Принять.

Утолить любопытство. Отвернуться, зевнуть даже.

Бей его! Он не такой, как мы!

Послушаем его: он не такой, как мы.

В биографии Райниса, написанной его современником Антоном Биркертсом, находим подробности жизни в Египте, частью неточные. Он пишет, что дети пастора были старше Райниса, но в состязаниях и стычках он все же брал верх. «На стороне Райниса была пасторова дочка Берта, она подавала ему палки, камня, когда они сражались, изображая два враждебных индейских племени. С духовной пищи дело в пансионате обстояло неважно. Первые книги, которые пришлось там прочесть Райнису, были истории про Кожаного Чулка».

Ошибки: дети не все были старше Яниса. Эрнест — ровесник, Берта — на год младше, Феликс — на два. Старше на год был только Оскар; тринадцатилетний Рудольф едва ли участвовал в сражениях.

Книги Фенимора Купера об индейцах — замечательное чтение для девятилетнего мальчишки, во всем мире не было в то время лучшего чтения! А игра в индейцев, схватки с «враждебным племенем» были не менее полезны, чем сидение за книгой.

Да и учение обернулось состязанием, и тут братья сердились и любопытствовали, ревновали и восхищались, должно быть. Маленький упрямец, недавно не понимавший самых простых вещей, с тупым и подавленным видом сидевший перед терявшей остатки терпения Лизе, — вдруг совершил рывок немислимый, невероятный! 5 апреля 1875 года он уже сочинил и собственноручно переписал немецкие стихи к дню рождения сестрицы Лизе!

Книги однажды и навсегда отворились его взгляду и уму, раздвинув горизонты и времена, — битком набитые новостями, приключениями, дразнящие всегда обещанием чего-то еще, небывало-чудесного, от чего заранее захватывало дух!

И здесь же впервые он испытал чувство, которому суждено его сопровождать чуть ли не всю жизнь: «Казалось, словно бы я на чужбине». Пятнадцать верст от дома! Чужбина? Да, если ему так казалось.

Шокирующая деталь. В одной записи Райниса, касающейся Египта:

«Берта. Книжки с картинками. Битвы; мама у церкви. Вши: подавлен, крайнее унижение».

(Есть такой эпизод в жестоко точной повести Натали Саррот «Детство». Действие происходит в Париже, в школе, в канун первой мировой войны.

«А, да, вши . . . В классе еще почти никого нет, за мной сидят только две наши худшие ученицы, неразлучные сплетницы, вечно они шепчутся между собой, перемигиваются, хихикают . . . Как только кончатся уроки, они несутся вниз по ступенькам, подбегают к мадам Бернар и что-то с возбужденным видом шепчут ей. И вот уже мадам Бернар ищет меня глазами, делает мне знак приблизиться и ведет в маленький кабинет возле класса. Там она говорит мне: «Дай-ка я посмотрю твою голову . . .» Она наклоняется и, вглядываясь в мои волосы, произносит смущенным, негодующим, серьезным, сочувственным тоном эти неожиданные слова: «У тебя вши . . . Надо от них избавиться как можно скорее. Ты должна посидеть несколько дней дома . . .»¹

Кто и каким тоном сообщил подобную новость в Египте Янису? Неизвестно. Известно только, что он почувствовал крайнее унижение.)

Вообще-то в Беркенеле обзавестись паразитами было, конечно, ничуть не сложнее, чем в Париже. Хотя мальчика и старались держать подальше от батрацких детей, изолировать его от разноплеменного люда, испольщиков, работников, заходящих странников и нищих, от тех людей, без которых Плиежан-старший никак не мог бы сколотить свое состояние . . . некоей чертой отделить хозяйского сына от прочих обитателей Беркенеле и ближайших окрестностей не было возможности. А еще прохожий люд . . . С 1861 года, как только было отменено крепостное право на всем пространстве Российской империи, тысячи тысяч людей струнулись с места, — и чем бедней был мужик, тем больше резонов находилось у него оставить свою развалюху и пуститься в путь. А там, где печное кочевье, где нищ и голь — там и вошь, что тут подделаешь. Беда и бедность, бездомье, теснота случайных пристанищ.

«Я плохо понимала возбуждение и хихиканье тех двух учениц, серьезное, озабоченное, смущенное лицо мадам Бернар . . . я всегда чувствовала себя чистой, и вши у меня в голове не так уж отличались, на мой взгляд, от микробов, которые в тебя проникают, ничего уж тут не поделаешь, заразились же я корью . . .» — пишет Саррот.

Уж конечно и малюнький Янис «всегда чувствовал себя чистым». Но «возбужденные и хихиканье» окружающих после открытия, сделанного в Египте, он не мог не понимать. Чистота должна была отличать его от «простых» ровесников, от чумазых, вшивых батрацких детей! Янис вдруг оказался с той стороны грани, за которую с таким диким трудом вытаскивал всю жизнь себя и своих наследников Кришянис Плиежан.

Я бы не удивился, узнав, что братья Свенсоны вовсе небезобидно дразнили новичка, напоминали ему о «крайнем унижении». И сражения между ними, в таком случае, не были так уж шутивы, а поддержка Берты, изменившей кровному родству ради чужака, оказывалась поистине кстати.

¹ Перевод с французского Л. Зониной и М. Зониной.

(Можно ли, правильно ли это — так вцепляться в одно-единственное оброненное Райнисом слово, толковать его, делать предположения и выводы? Но выводы читатель может оспорить. А не цепляться к подробностям, особенно таким вот, царапающим, автор не обещает. Эти мелочи, так скупы оброненные, ничем не заменимы, без них все как-то мертвеет.)

У Берты было еще два имени: Шарлотта, Ида. «Тоже Ида». Райнис помнил о ней благодарно. Может быть, к дружбе и здесь примешивалась нежность? Девичья прелесть никогда не оставляла его равнодушным: он был влюбчив, был и оставался чуть не до последних дней.

Эти несколько месяцев в Египте дали ему друзей и соперников, столкнули с несколькими возрастами: рядом были мальчики младше, старше, ровня ему и неровня. Бывшее домашнее дитя впервые встречалось с напором других самолюбий, и чужие характеры и поступки ворвались в его собственную жизнь, заставили с собой считаться. Без такой, может, и небезболезненной прививки — кто знает, сумел бы он вписаться еще через какое-то время в жизнь и вовсе недомашнюю — в будни немецкой *Landschule*¹, где, к слову сказать, таких же, как он, немцев будут считанные единицы?

Ему нужны были споры, признание таких же как он, непризнание таких же как он, игра в индейцев, восхищение Берты, ревность и любопытство ее братьев, — вообще чужой, иначе слагавшийся до него мир, раздвинувший прежние пределы.

Эта получужбина смягчила предстоявший ему удар. Казенная строгая эпоха ожидала его.

* * *

Ты Дзинабург, город славный,
Ты Дзинабург над Двиной, —

певали часто гуды, отцовы работники. Песня — про лодочников, про их непонятную жизнь. Лодочников теперь Янис будет видеть часто. Он возвращается к Даугаве.

Динабург с огромной крепостью, с прямыми, точно по линейке вычерченными улицами (а они и были вычерчены по линейке — по плану, утвержденному еще Екатериной II) прилепился к правому берегу Западной Двины — Дюны — Даугавы. Стоило перейти или переехать мост, перебраться лодкой на другой берег — и попадешь из одной в другую губернию, причем улочки на левом берегу принадлежат уже не Динабургу, а Земгальской Гриве. Немецкая школа, как уже упоминалось, стояла близ самой «гривы» — места впадения речки Лауце в Даугаву.

В Динабурге она бы не так бросалась в глаза: там найдутся строения и познаменитей. Но здесь, среди мелких обывательских домишек, трехэтажное кирпичное, с высокими окнами здание школы выделялось. Над фронтоном — гипсовый коленопреклоненный ангел. Справа и слева по прихоти провинциального архитектора возлежат на крыше белые и тоже гипсовые львы. Скульптуры неказисты и выглядят дополнением довольно случайным, но Янису это в голову не приходит: много ли скульптур он успел повидать в своей жизни? Львы,

¹ Школа (нем.).

никогда не живавшие на берегах Даугавы, уводили воображение далеко — в Африку, в Египет, в зной аравийских пустынь.

В школьной зале, где все триста учеников по утрам молились, а после занятий выслушивали ежедневную проповедь, висела на стене большая писаная маслом картина: обручение девы Марии с Иосифом. Ангел на крыше . . . святое семейство на холсте — там не хватало только младенца Христа, которого тогда еще не было, который еще только будет . . . Школьник знал, что предстояло деве Марии и будущему мужу ее Иосифу: знал, мог бы рассказать им не хуже того ангела — как родится Иисус, как свирепый царь Ирод замыслил погубить его, как придется им искать спасения в Египте.

Речка Лауце, протекавшая здесь же, шагах в двадцати от школы, если по ее крутому берегу идти вверх и вверх, привела бы к Беркенеле, потом в Оландерн, к златоволосой Иде, а там и к озеру Лауце и к здешнему, теперь уже милому, то и дело приходившему на память Египту. Пойти от школы в другую сторону — вовсе недалеко будет еще одно родное место: Рандене. Здесь матушка могла бы навещать его почаще . . . Но хозяйство не дает, и Дора все еще мала, ни на шаг не отпускает, и . . . сказать ли? Матушка робеет, она опасается оконфузить Яниса перед господами учителями, а пуще того — перед соучениками, там ведь и баронов, настоящих, всамделишных немецких баронов отпрыски прогуливаются вместе с ее сыночком. Что она такое? Обыкновенная крестьянка: простая, толстая, старая. Нет уж, лучше пусть сынок сам заглядывает в Рандене, когда сможет. Но шутка ли — три версты туда, три обратно? В будний день ему никак нельзя отлучиться надолго, а на воскресенье за ним присылают лошадей из Беркенеле. Вот тогда посланный за Янисом работник доезжает иной раз и до Рандене, забирает хозяйку усадьбы с малой дочкой, потом возвращается в Земгальскую Гриву, принимает еще одного пассажира — Яниса — и все вместе катят в Беркенеле.

Близко Рандене, очень близко — и в то же время далеко, в убегающем все дальше назад прошлом. В уме Яниса, в его памяти оно уже находилось почему-то дальше, чем рождение младенца Христа, чем обручение Иосифа и девы Марии: все эти события общей и его жизни каждодневно обновлялись, освежались молитвой и приятно-скудной, без твоего участия просачивавшейся в сознание проповедью. Краски и линии на картине, от частого разглядывания уже почти невидимые, все же иной раз как бы заново добавляли еще толику знания об этих нечужих судьбах. А Рандене светилось, никому недоступное, — только сму, — как маленькая тайна, как всегда прикрытый кусочек твоего собственного тела, хоть пупок например, до которого другим дела нет, а тебе-то без него никак нельзя, как оно ни смешно: куда годится человек без пупка? Неизвестно почему — никуда не годится . . .

Немецкая школа в Земгальской Гриве была именно и прежде всего немецкой: барон Эттинген в свое время подарил ее курляндскому рыцарству, и это многое предопределило.

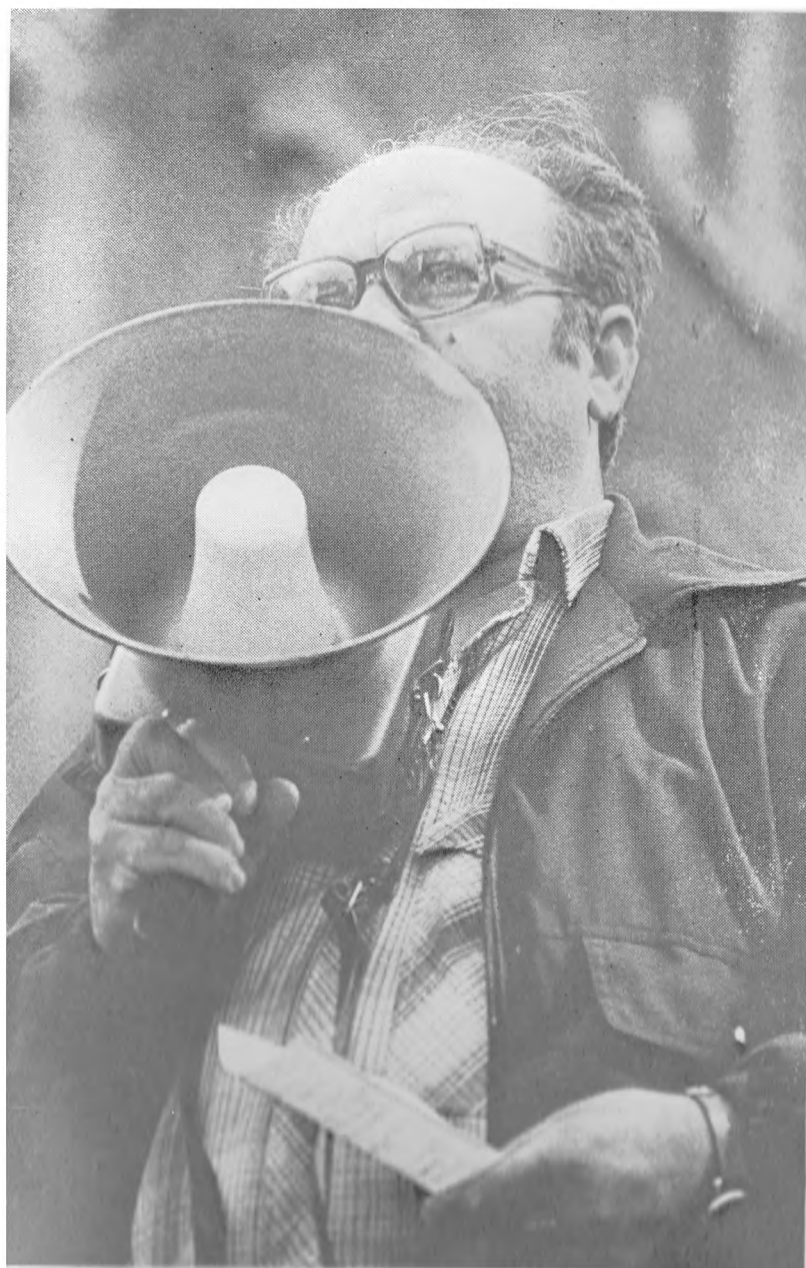
«В то время в школе: ник, латышей, было всего человека четыре, но и мы говорили только по-немецки. — Это из воспоминаний

(Продолжение на 33-й стр.)

В МАЕ 1990 ГОДА













Я. Стiebриньша, одноклассника Райниса. — Директором был священноучитель Вельцер. Из учителей помню математика Промулта, Мюллера — он преподавал русский язык, затем Томаниса, Фейерабенда, Юксе. Все они владели латышским, припоминаю, что Промулт и Мюллер выписывали латышскую газету «Ригас лапа». Плиекшан был очень прилежен, хорошо давались ему латынь и греческий язык — изучение их не было обязательным, уроки давались для желающих. Преподавал нам эти языки один чудак, Базенер, большой их знаток и ценитель.

Хотя мы с Плиекшаном, оба латыши, все четыре года учения были добрыми товарищами, мне трудно что-то такое особенное припомнить из тогдaшней жизни. Разве одну мелочь . . . Томанис, один из учителей, был из нашей волости: его брат, человек зажиточный, жил с нами по соседству. Так вот, этот Томанис влюбился в старшую сестру Плиекшана и на уроках выказывал ему всячески свое благоволение: то по голове погладит, то назовет его по имени, а не по фамилии. Плиекшана это страшно злило, он подолгу не мог потом успокоиться, а на переменках соученики не упускали случая позубоскалить по этому поводу».

И вспомнилась коротенькая запись где-то у Райниса: «Лизе хочет замуж, отец не пускает». Да, и старого арендатора можно понять: на ком же хозяйство останется? Давным-давно сгинули, забыты, словно и не было их, и те любви и волнения, и те запреты, споры, гнев и отчаяние . . . А как жгло, как болело! Как вспыхивала внутри живых человекoв надежда!

Имя его было переделано на немецкий лад: с первого дня учения в Landschule он из Яниса превратился в Иоганна, из Плиекшана в Плекшана (дифтонг «ие», видно, и немцам не давался, как не дается русским). Лет через восемь, поступая в Санкт-Петербургский университет, Иоганн превратился в Ивана. Иван Христофорович Плекшан.

И как только его «окрестили» Иоганном, в тот же самый день он остро, будто укол, должен был почувствовать, что он именно Янис — да, Янис Кришьянис Плиекшан и никто другой: латыш, сын латыша и латышки. Это не значит, что он тут же об этом и заявил во всеуслышание: я говорю о том внутреннем человеке, который не мог не вздрогнуть, впервые услышав обращенное к нему: Иоганн! А тот, наблюдаемый извне, только что поступивший в школу мальчик ежилсЯ под любопытными взглядами одноклассников, боялся ступить не туда и сказать не то, радовался, что говорит по-немецки не хуже немцев — а то бы его наверняка засмеяли!

Гарлиб Меркель¹ когда-то писал в своей знаменитой книге «Латыши, особенно в Ливонии, на исходе философского столетия»: «Пока они остаются крепостными, не ищите в них никакой национальной гордости. У них такой недостаток в ней, что каждый латыш, которому удалось добиться свободы и перейти в другое сословие, считает горькой обидой для себя, когда кто-то напомнит ему, что он латыш. Он тщательно старается обособиться от своих братьев, прикидывается, что не понимает их языка, а если успеет сделаться баринoм для

¹ Гарлиб Меркель (1769—1850) — немецкий писатель, публицист.

некоторых из них, тогда он жестокосерднее и корыстолюбивее самих немцев».

Крепостное право в балтийских губерниях было отменено еще в 1817 году; не сразу, но все-таки на одно-два поколения раньше, чем в коренной России, крестьяне получили личную свободу. Но целые десятилетия понадобились для того, чтобы выбившийся из низшего сословия латыш перестал стыдиться своего языка и происхождения. Отец Яниса был из первых в этом ряду. Он мечтал сделать-ся богачом и помещиком, обойти и переплюнуть соседей-баронов; но вот превратиться в немца не имел ни малейшего желания. В семье Плиекшанов, одной из сотен, а может быть, и тысяч выбившихся из нужды, видных семей рождалось и зрело новое сознание: мы не хуже других, говорило оно внятно, со спокойным достоинством; нам — да, бывало и хуже, но мы не хуже других. Непонятная, уму непостижимая свобода, зернышком проглядывавшая раньше только в песне, прорастала из долгой неволи, высасывая потребные ей соки из прежней нерадости, несвободы, как цветок из навоза. Нет, мы не хуже других.

Пансион отставного лесничего Фрейберга был тоже рядом со школой — у самого впадения речки Лауце в Даугаву. Из воспоминаний, раскиданных там и сям в записях Райниса, можно было бы восстановить с достаточной достоверностью десятки мелочей, картинок, эпизодов, имен. Но у нас плохо со временем, с местом. Книга, читать которую пришлось бы ровно столько дней и часов, сколько их было в жизни нашего героя, могла бы обойтись без повторов и не вместить в себя всего, что было и что подлежит осмыслению. Но и писать, и читать такую книгу — значило бы заместить свою жизнь другой. И тут чудится грех, может быть и не подлежащий прощению. И потому — немного страниц отведено нам для описания жизни Яниса Плиекшана в Земгальской Гриве. Успеть бы сказать о главном.

Главное событие — встреча с Учителем.

Лицо не вполне обыкновенного, порой — великого учителя с железной закономерностью проглядывает в каждой недюжинной судьбе.

А. Биркертс: «Из учителей мальчик любил больше всего Базенера, — это записано со слов поэта, — преподавателя немецкого языка, учившего также и латыни».

Если представить, каким он пришел к Базенеру . . . Застенчивым, гордым до крайности, самолюбивым, замкнутым. И — открытым избирательно: для доброго взгляда и слова.

Тех, перед кем он готов был открыться, живость, смышленность мальчика должны были поражать и притягивать. Лицо его было чисто, голубые глаза лучились и, казалось, все время ждали чего-то, готовы были к радостному изумлению. Потом, через какие-то пять лет, он вспомнит об этом своем утерянном облике с чувством тоски и утраты.

А всего за год до этого он толком и читать не умел. Зачатки и обрывки самых разнообразных сведений и знаний умещались уже в новоиспеченном «Иоганне», притом в изобилии. Польские и белорусские фразы в его речи должны были перемежаться с немецкими, крестьянские основательные соображения — с диким индейским кличем; выученные на праздник заурядные стишки — с усвоенными на большой дороге словечками.

И этот самый голубоглазый мужичок должен был в четыре года, от десяти до четырнадцати, первоначально освоить целые миры и культуры: от Гомера, Эсхила, Софокла, Аристотеля и Цицерона до Лессинга, Шиллера, Гете . . .

Кстати о Лессинге. Запись: «Половодье. Мне нужно учить «Натана»¹, домой никак не попасть».

Двадцать лет спустя он переведет этого самого «Натана» на латышский язык.

Три тысячелетия всечеловеческой культуры, ни больше и ни меньше, должен был усвоить, присвоить себе десятилетний мальчик, представший в августе 1875 года впервые пред очи Густава Базенера.

Можно было или раздражить в деревенском отроке аппетит к человеческой мудрости, красоте — или в течение недели отбить этот аппетит раз и навсегда.

Мы не встретим потом в жизнеописании или в заметках Райниса другого такого поворота, другого учителя, подобного этому; да и роль такую в чужой жизни можно сыграть лишь единожды.

Что казалось тогда частным делом смышленного мальчугана и рутинными занятиями провинциального учителя (чье преувеличенное рвение уж наверняка вызывало снисходительно-насмешливые замечания коллег, да и школяров), — то самое выглядит сегодня как одно из чудес культуры. Молодой народ оказался через это общение ученика и наставника навеки повязан с судьбами мира, с другими временами, другими народами. И произошло это для Яниса Плиекшана в возрасте от десяти до четырнадцати — тогда как раз, когда способность к постижению, к пожиранию новых сведений, знаний, к совершению ежедневных открытий в человеке максимальна.

Иногда он шел из Гривы в Беркенеле пешком.

«Зубы заболели . . . Забрался в стог». Это он так боль переживал. Чтобы никто не видел.

«Беркенеле: могилы, церковь».

Кладбище было по пути, никак не минуешь.

Оно и сейчас по пути. Полузаброшенное, тихое, осененное вековыми деревьями. Церковь давно пуста, но только недавно начала разрушаться. Лестницы на колокольню почти все надежны, держат еще. Только возле самого верха ступеньки истончились и ногу ставить опасно — но ничего, можно за перила уцепиться и — через ступеньку, через две . . . А колокол сняли в шестидесятых годах, увезли Бог весть куда.

Вокруг церкви — могилы, кресты, те самые, которые видел десятилетний Янис, возле которых сердце его билось громко и быстро, когда он оказывался в этой зелени и в этой особенной тишине один. Те самые. И более поздние.

Здесь простоял больше столетия и этот железный, проржавевший и покосившийся крест. Надпись — выпуклые буквы, тоже ржавые, но еще различимые, если взглядеться, если ощупать их пальцами.

Gustav Basoner, geb. 29 Oktober 1827

gest. 22. Mai 1883

Dem teuern Lehrer die dankbaren Schüler und Freunde.

¹ «Натан Мудрый» — драматическая поэма Лессинга.

Так вот он, учитель Райниса Базенер!¹

А с другой стороны креста — совсем мелко, еще надпись:

Апосал. 14, 13

Не поленимся, разыщем в Евангелии, в Апокалипсисе — Откровении св. Иоанна, главу 14, стих 13. И узнаем, какое слово откровения и я друзья и ученики сочли уместным отнести к учителю Базенеру в те дни, когда прощались с ним.

Вот оно, это слово.

«И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними».

И дела их идут вслед за ними.

... В отрочестве человек меняется стремительно: в течение года его знания и интересы иной раз удваиваются. Как у щенка части тела растут как бы по отдельности, независимо друг от друга: то ноги вытянутся за лето, то плечи раздадутся. Яниса какое-то время должны были смущать уши — оттопырившиеся, крупные несоизмерно.

И за год не раз могут смениться увлечения, — притом какое презрение испытывает очень молодой человек к своему вчерашнему состоянию, какое ледяное равнодушие выказывает к событиям и вещам, еще недавно его поглощавшим! (Как художник, чтобы изобразить стремительно летящего над землей коня, рисовал его с шестнадцатью ногами, как бы пребывающими в разных точках машистого шага одновременно, в неуследимый миг, — так или похоже нужно было живописать и нашего героя, в каждый данный момент бывшего и здесь и уже не здесь: дальше.)

Ночью, во сне он двигался еще быстрее и свободнее, парил над землей, взмывал ввысь, сам себе не веря, — точно птенец, подброшенный неведомой силой в небо впервые.

Директором школы был «старый Вельцер». Он и преподавал в классах закон Божий, и проповедь читал. «Муж строгий и гуманный», — отзывается о нем как-то Райнис в добрую минуту.

Но в отрочестве он не всегда думал так.

Однажды директор застал Яниса читающим вслух Библию приятелям в самом неподходящем для этого месте. Там, где Святому писанию и оказаться нельзя было, а уж читать-то его здесь было явным и намеренным кощунством. Возмущенный до глубины души пастырь позаботился о том, чтобы грешники пожалели о своих пакостях.

Эту, вроде бы необъяснимую, попытку кощунства в том или ином виде встречаешь чуть не в каждом детстве прежних (и сейчас невольно кажется: почти безмятежных) времен. Если правда просачивается сквозь понятные умолчания или забвенье, то непременно всплывает подобный эпизод.

Ребенок вступает в диалог — со всеми, кого встречает, со всем, что видит, слышит, осязает. Он и с огнем должен поговорить — пока не обожжется. И с высотой — пока не упадет. И с опасностью, покуда не изведает ее притягивающие глубины.

¹ Перевод немецкого текста: «Густав Базенер. Род. 29 октября 1827, умер 22 мая 1883. Дорогому учителю — благодарные ученики и друзья». Ранее имя и дата рождения Базенера не были известны.

Как же не желать ему диалога с Богом? Как не ждать ответа от силы, к которой он обращается тысячи дней подряд? И когда славословия, песнопения, молитвы не находят прямого, понятного отклика, мало кто удержится наедине с Владыкой небесным и не попробует однажды испытать Его терпение, всеведение и всемогущество. И свою отчаянную храбрость заодно. Ох, как напрягается кулачок сердца в миг невозможного греха, как страшится и почти желает немедленной кары тот, кто посылает ввысь свой вызов! Но нежно, растроганно и с грустной, бесконечно печальной улыбкой смотрят небеса на расхраб्रившегося крохотного Иакова, которого по счету? — там, внизу. Он хочет доказательство существования высшей силы? Когда-нибудь он поймет: что-нибудь одно — или вера, или доказательство. А не поймет? . . . Что ж, тогда еще жалче тебя, малыш; но не бойся. Ищущий и алчущий Духа не будет отвергнут.

Но есть и сердитая запись у Райниса: Вельцер преследует за кощунство над Библией. А сам — все знают! — живет со школьницей!

М-да, муж строгий и гуманный. Если бы вы не допекали эдак-то юного грешника, он, глядишь, и не проговорился бы грядущим поколениям об этом прискорбном обстоятельстве. Впрочем, может, это сплетни все? Поди проверь сейчас. Простите, если что . . .

Но вот грех, можно считать, доказанный. «Однажды Райнис должен был прочесть наизусть какие-то стихи, — читаем у Биркертса. — Он быстренько их проговорил, но Вельцер не был удовлетворен и потребовал, чтоб стихи были прочитаны с выражением. Мальчик требования так и не сумел исполнить, за что его и отчитали сурово. То была первая и последняя в его жизни „художественная декламация“». «С тех пор, — полушутя добавлял сам поэт, — декламировать стихи он уже и не пытался». Шутки шутками, а чтение стихов и впрямь, если верить современникам, не было сильной стороной Райниса. Произносил он собственные строки тихо и как-то не вполне уверенно: приходилось усиленно вслушиваться. Ах, если бы покойный Вельцер не прикрикнул в свое время на школьника, а нашел бы, что похвалить, даже и в самих изъянах его чтения! И сегодня, и прямо сейчас кто-то ледяным голосом выговаривает бедному школяру: уличает, отнимает у него веру в себя, вместо того чтобы придать ее. Не понимают, что ли, в какие решающие минуты стоят они над созревающей душой? Точно в колдовской кузне, гибкий горячий металл готов принять и те, и эти очертания. Под каждым воздействием, под ударом и слева и справа он и принимает эти формы, быть может, раз и навсегда; резон ли кузнецу ошибаться?

Один из двух друзей Яниса, Мейнхард Мора, сочинял стихи по-немецки. Он с успехом подражал Ленау¹, стихами которого в это время все зачитывались.

И Янис тоже начал писать стихи. И тоже по-немецки. Но и не только: к несказанной радости Густава Базенера, он обратился к благородной латыни. В 1877 году в Земгальской Гриве, в пансионе лесничего Фрейбурга сын латыша-арендатора слагал латинские стихи.

И тогда же он сочинил первое стихотворение по-латышски.

Не берусь передать ту ни с чем не сравнимую сладость, какую должен был пережить Янис Плиекшан при первых попытках творчества. Думаю только, что не познавший этой поразительной радости

¹ Николаус Ленау (1802—1850) — австрийский поэт.

именно в самом начале, не затевавший никогда сотворить «из ничего» — нечто, не издевавший этой ошеломляющей встряски едва ли станет поэтом. Первое же совпадение действия с тем, чему суждено тебя с годами истерзать и исчерпать, первое же угадывание назначенной тебе судьбы и муки не может не отозваться волной тайного узнавания, тем неслышимым щелчком, когда ключ попадает в тот самый замок, для которого он изготовлен.

*

Перышко легкое,
Куда несешься?
Что ты так вьешься
Между кусточков?

Иль тебя злой
Бушевавший над пашней
Ветер вчерашний
Вырвал у птиц?

Или над лесом
В безжалостной стычке
Сжались на птичке
Недруга когти?

Или же в черный свой день,
Умирая,
Перья роняя
Пала птица? . .

Ведовство какое-то, иначе не скажешь, и не безобидное, а — всей кожей ощущалось — опасное, жуткое. Перышко, невесомое и летящее как бы зная куда, то проваливаясь почти до земли, то опять взмывая кверху, — понять как живое существо, расспросить его: откуда ты? Куда? Что с тобой было раньше? И — неизвестно откуда — дожждаться ответа.

Друг Яниса Иоганн Бернхард Даниэль Мора родился в Эстонии, но уже трех лет был увезен оттуда. Он был сын владельца мельницы; среди друзей дома числились хозяин ресторана, виноторговец . . . Такое вот общество.

Райнис всю жизнь считал Бернхарда эстонцем — но там, через десятилетия, на другом краю судьбы, в свидетельстве о смерти Мора будет сказано, что он немец.

С трех-четырёх лет Мора жил в Скривери, то есть в самой что ни на есть латышской Латвии, на берегу речки Дивайи. Но, может быть, в семье говорили по-эстонски? Вспоминали окрестности Дерпта (Тарту), где жили раньше? Не исключено, что от друга, признанного в школе поэта, Янис усвоил какие-то эстонские слова: где семь-восемь языков и наречий, там и девятому найдется место.

Второй его школьный товарищ, Леон Дарашкевич, должен был одинаково хорошо владеть литовским и польским. Литовский язык Райнис слышал с детства в родном доме (помните признание: «Литовец, старый Марцулис, может быть, самое глубокое из моих детских

воспоминаний: как он целый день напролет крутит ручной жернов, тянет нескончаемую песню, такую же монотонную, как его работа»).

Отец Яниса, когда был в хорошем настроении, любил шутить по-польски; польские песни предпочитала всем другим сестра Лизе. (Оба языка совсем не случайно, должно быть, связаны с песней, с музыкой самого раннего детства, — как и свой, латышский.)

Леон Дарашкевич — литовский *bajārs*, по словам Райниса. Слово *bajārs* восходит, кажется, к русскому «боярин». Попробуй переведи его. Ну, скажем, — почти «барин», человек богатый.

А был он такой же приблизительно барин, как и сам Янис. Дед Леона в 1852 году арендовал земельное владение в Паневежском уезде Ковенской губернии. Потом, правда, имение стало его собственностью, но уже отец Леона, Людвиг, продал его в 1877 году, то есть в описываемое нами время, когда его сын учился в Земгальской Гриве, — за 5200 рублей. Сумма свидетельствует, что имение не было ни слишком велико, ни чересчур богато.

У Людвиг Дарашкевича было четверо сыновей и дочь. Сыновья учились в университете. Один из них, Ян, из университета вышел, разочаровавшись в возможностях казенного просвещения. В 1863 году он и его брат Леон — участники польского (и литовского) восстания. Леон был убит в самом начале. Ян одно время скрывался у брата Людвиг в Субате, где тот был врачом; затем бежал за границу и умер эмигрантом в Париже. Людвиг Дарашкевич назвал своих сыновей в честь братьев. В семье подрастали Ян и Леон Дарашкевичи.

Такая связь, короткая и прямая, обнаружилась между соратниками графа Платера, о котором в раннем детстве наш герой столько раз слышал печальную, за сердце хватающую песню, и его ближайшим другом.

Дора, младшая сестра Яниса, запомнила двенадцатилетнего брата стройным, ловким, румяным, с голубыми сияющими глазами. Она любила вспоминать: школьник приседает, семилетняя сестренка взбирается ему на плечи и — «начинается дикая скачка! Мальчик вихрем пронесется, перескакивает через заборы и канавы, а девчушка визжит от невыразимой радости и от страха; целая свора собак мчится за ними по пятам . . .»

«Жизнь менялась неузнаваемо, когда летом на каникулы приезжал брат. Он играл со мной, силой воображения как бы вызывал из прошлого древних героев. Открывался как бы иной мир, скрытый за толщей столетий мир греков, персов, римлян. Потом, когда я начала учить историю в школе, многое я уже знала: спросит учитель — я смело тяну руку вверх и отвечаю . . . Бывало, вместе с братом на каникулы приезжал кто-нибудь из его товарищей. Они ничуть не сторонились меня, принимали в свои игры. И я носилась вместе с ними сломя голову . . .»

Да, это он носился сломя голову, «не признавая никаких препятствий».

А иной раз забирался на чердак и затихал надолго.

В том самом доме в Беркенеле пространство между крышей и потолочным перекрытием теперь разделено только печными трубами. Раньше тут были перегородки, разного назначения комнаты, кладовки, закуты. И в каком-то из них Янис обнаружил целую библиотеку старых книг, оставшихся от помещиков, прежних владельцев

усадьбы. Большинство их было издано в самом начале девятнадцатого или в прошедшем, восемнадцатом веке. Выпросив у Лизе большую мягкую тряпку, Янис, доставая очередной фолиант, сдувал частью пыль, а остальное стирал; потом бессознательно гладил старинный сафьян переплета, коричневую или черную обложку с золотыми тисненными буквами заглавия.

Должна, должна была обнаружиться подобная библиотека в этой жизни! Без нее не хватало бы чего-то, а с ней это отрочество обретает совершенную полноту.

Те книги не сохранились. Остались они только в памяти мальчика, заглянувшего в заветную каморку впервые, наверное, лет в тридцать-тридцать четыре. Почему не раньше? Потому, думаю, что выбор главных, навсегда запомнившихся книг говорит о повзрослении.

Райнис вспоминал о хорошем подборе классиков, не уточняя, что это было: античные трагики? Шекспир, Вольтер в немецких переводах? Лессинг, Клопшток? Гете?

Другие книги названы определенно.

«Ueber die Einsamkeit»¹ — философское сочинение Георга Циммермана² (скорее всего, четырехтомное лейпцигское издание в свое время знаменитой книги), «Макробиотика, или Искусство продлить человеческую жизнь» Кристофа Вильгельма Хуфеланда³, «Курс изящной словесности» Шарля Баттё⁴.

Поразительно, как плодотворны встречи талантливых людей в полудетстве, в самом начале пути, с необлегченными, взрослыми, полномерными мыслями и сведениями. Настоящая пища, грубая, честная — не то что пережеванная чужим ртом кашка детских адаптаций. Нет: начинать крупно, брать груз на пределе сил, сталкиваться с мыслями, тяжелыми как жернова, но обещающими и хлеб настоящего знания.

Еще среди главных впечатлений отрочества Райнис называл знаменитую новеллу Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас». В то время была жива еще традиция семейного чтения; в час, когда вся семья собиралась воскресным вечером за столом, Янису говорили: «Ну, что ты сегодня нам считаешь?» — и однажды он непременно должен был в ответ раскрыть том Клейста.

Герой новеллы живет в середине шестнадцатого столетия в одной из германских монархий; он торгует лошадьми, владеет мызой «близ деревни, и поныне носящей его имя». Есть у него и конюшни, и немало людей в услужении.

Янис не мог в одиночку пережить эту новеллу, не мог проглотить ее молчком, ничего не сказав домашним. Михаэль Кольхаас должен был напомнить ему родного отца. Кришьянис Пликшан обитает тремя столетиями позже в другой стране, принадлежа другому языку и народу, он не лошадиный барышник, он богатый арендатор. Но и тут и там перед нами состоятельный простолюдин, и определяющей чертой того и другого стало чувство собственного достоинства.

¹ «Об одиночестве» (нем.). Слово, ключевое для судьбы и жизни Райниса, открывает список книг, найденных на чердаке.

² Циммерман (1728—1795) — философ, литератор; личный врач английского короля в Ганновере и затем прусского короля Фридриха Великого.

³ К. В. Хуфеланд (1762—1836) — немецкий врач, ученый.

⁴ Ш. Баттё (1713—1780) — французский философ, эстетик, педагог. Райнис называет его автором «Истории философии»: ошибка?

Совпадающее с «чувством справедливости»: «чувство справедливости, ему присущее и точное, как аптекарские часы, все еще колебалось...»

С нарастающим вниманием должны были слушать в доме Пликшанов горестную историю Кольхааса: как он гнал своих лошадей для продажи в соседней Саксонии, как возле замка юнкера Венцеля фон Тронка с него спросили какую-то новую, неизвестную доселе пошлину, а затем пропускное свидетельство, которого у него не было да и не могло быть, так как само «постановление» о новых порядках было выдуманно притеснителями. В залог, взамен свидетельства, хозяин потребовал оставить у него двух прекрасных коней. Кольхаас скрепя сердце подчинился, оставив с конями и работника для ухода за ними. По возвращении он нашел вместо своих красавцев вороных двух измученных костлявых одров; конюх его был избит до полусмерти и изгнан. Михаэль Кольхаас обращается к правосудию: он желает получить коней в том виде, в каком оставлял их, требует также возмещения обид и убытков, причиненных его работнику, потерявшему от побоев здоровье. Но у юнкера находятся могущественные покровители при дворе. В конце концов власти обвиняют самого истца в сутяжничестве и грозят ему карой, если он не перестанет досаждать им своими кляузами.

И тогда Михаэль Кольхаас решает самолично восстановить справедливость. Жене своей, Лисбет, он говорит: «Я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав. Если топчут тебя ногами, лучше быть псом, нежели человеком!»¹

Лисбет пытается подать жалобу курфюрсту. «Похоже, что она слишком дерзко пробивалась к особе государя, и один из не в меру ретивых стражников ударил ее в грудь древком своей пики». После смерти жены Кольхаас «сел за свою конторку и в силу права, дарованного ему самой природой, написал приговор, обязывающий юнкера Венцеля фон Тронка в трехдневный срок, считая с проставленной им даты, привести вороных, отнятых и заморенных им на полевых работах, в конюшни Кольхаасбрюкке и самолично откармливать, покуда они не приобретут прежней стати».

Если кто хочет понять характер людей, подобных Кришьянису Пликшану, распрямявшихся в каждодневном соперничестве и борьбе с вчерашними господами, тому следует представлять себе, как гневный румянец и бледность сменялись на лице этого слушателя, как за столом вдруг становилось слышно его стесненное дыхание при чтении «Михаэля Кольхааса».

Простолудин объявляет войну юнкеру, а заодно и всем, кто согласится его приютить. Разгромив вместе со своими людьми замок фон Тронки, уничтожив без жалости его подлых подручных, он поджигает город Виттенберг, укрывавший его врага, вступает в сражение с регулярными войсками и одерживает верх; к нему стекаются сторонники. Вот уж Кольхаас разбил отряд принца Мейсенского, вот он поджег с трех сторон Лейпциг! «В мандате, выпущенном в этой связи, он именовал себя наместником архангела Михаила, сошедшего с небес, чтобы огнем и мечом покарать весь мир, погрязший в пороках и коварстве, всех, кто станет на сторону юнкера». Сам доктор Мартин Лютер обращается к бунтовщику с воззванием. Грозный мститель

¹ Новелла Клейста цитируется в русском переводе Н. Ман.

заявляется домой к Лютеру и говорит, что отныне прекращает войну с обществом — «поскольку оно, как вы меня заверили, не отторгло меня».

Дальнейший поворот разговора примечателен. «Отторгло! — воскликнул Лютер, в упор глядя на него. — Что за шальные мысли владеют тобой? Кто мог тебя отторгнуть, отобщить от государства, в котором ты живешь? Слышанное ли дело, чтобы государство кого-либо, кто бы он ни был, от себя отторгло? — Отторгнутым, — отвечал Кольхаас, сжимая кулаки, — я называю того, кому отказано в защите! А я в ней нуждаюсь для процветания мирного моего промысла, за помощью обращаюсь я к обществу, за охраной того, что мне принадлежит, и тот, кто мне в ней отказывает, изгоняет меня к дикарям в пустыню, дает мне в руки дубину для самозащиты».

Сами по себе слова: «два вороных» — могли служить паролем, открывающим доступ к душе Кришьяниса Плиекшана. Сказано уже, что он увлекался лошадьми страстно; тут была одна из тех сфер, где он мог потягаться — и тягался! — с немецкими баронами (в описываемые времена его лошади выиграла скачки, устраивавшиеся в Земгальской Гриве).

А жажда справедливости, совершенно кольхаасовская, заставит Плиекшана-старшего все снова и снова ссориться с могущественными соседями, помещиками — в том числе и теми самыми, что сдавали имения ему в аренду. Он много потеряет на этом, злосчастный латышский Кольхаас. Ему придется кочевать, потому что помещики не захотят продлить строптивому латышу аренду; судебные тяжбы, одна другой тягостнее и бесконечней, нависнут над домом Плиекшанов, а неудачный исход последней из них сведет старого Кришьяниса в могилу.

Бунт, попытка победить и переродить «весь мир, погрязший в пороках и коварстве», — это выпадет на долю его сына.

Окончание следует



В мае 1990 года



Янис ПЛОТНИЕКС — латышский поэт, прозаик, родился в 1932 г. в Видземе. Окончил филологический факультет Латвийского университета. Работал в издательстве «Лиесма», газете «Литература ун максла». Издал 11 поэтических сборников, среди них: «Тревожная песня» (1958), «Звезды принадлежат земле» (1961), «Пора сенокоса» (1975), «Земля и корни» (1982), более 10 книг прозы: «Восемь раз через экватор» (1963), «В пурге оленьего края» (1968), «Игра» (1972), «Мост» (1984) и др.; книги для детей. Переводил стихи С. Есенина, современных русских поэтов; среди сборников переводов: М. Эминеску «Избранное» (1959), М. Танк «Следы годов» (1960), А. Малышко «Белым пламенем черемуха горит» (1963); В. Брюсов «Земля и мечта» (1973).

Стихи Я. Плотниекса переводились на английский, венгерский, а также — на русский, украинский, белорусский, литовский и другие языки народов СССР.

В переводе на русский язык вышли книги «Пароль в будущее» (1963), «Черные и белые» (1970), «Голос корабля» (1974).

В СВОЕМ АДУ

Перевели Сергей ВОЛЬСКИЙ и
Сергей ВОРОНОВ

ДУЭЛЬ С САМИМ СОБОЙ

Абориген Земли,
я половинчат весь:
Во мне приют нашли
и доброта и спесь.
Душа моя чиста
и в тот же миг черна,
Святой и грешник в ней
свое берут сполна.
Мне дорог ясный день,
но счастлив я во мгле,
Я в небеса лечу,
но и стремлюсь к земле.
Сияют звезды мне,
когда иду в ночи,
Но душу холодят
палящие лучи.

Я тверд и мягкотел.
Суров и нежен взор.
Я честь свою храню
и выношу позор.
Себя я не люблю,
но дорог я себе,

И жизнь, и смерть моя
сплелись в одной судьбе.
Себе я друг и враг,
и дружба и вражда
Замешаны во мне,
как счастье и беда.
Печалюсь я, любя,
смеюсь в тяжелый час,
Вам подарю себя,
но приневолю вас.
Мгновенен молний блеск,
но бесконечен миг,
Я сам себе — покой,
и тишина, и крик.
Я сам себе творец
и сам — ничтожный раб.
Всесилен, словно Зевс,
и бесконечно слаб.
Молчу, как будто склеп,
как колокол, пою.
О жизнь! В себе несу
всю крутоверть твою.

И потому с собой
в извечном споре я.
Мне б истину постичь
в движенье бытия!
Но если бы в себе
убить я черта смог,
Прожил бы я хоть миг
безгрешным, словно бог?
Судьба моя лишь в том
извечна, может быть,
Чтоб целиться в себя
и все же не убить.
С рождения, видать,
передо мною цель —
С самим собой вести
жестокую дуэль.
И если в некий миг
мне душу сдавит страх,
Не буду ли убит
я в собственных глазах?
Я весь — как этот век,
что не в ладу с собой . . .
Я жив, я человек,
покуда длится бой!

ПЕСЕНКА О ЦИРКЕ

Взгляни, притихнув,
как сурово
Рычит сквозь прутья павиан,
Раздумий нить сплетая снова,
Войди в орущий балаган.

Беспечным гением резвится
Там полосатый клоун вновь,
Плетут старухи, как девицы,
Пустые вирши про любовь.

Себя подталкивая в спину,
Буффон в слепой работе рьян:
На небо лезет
и мякину
Молотит в поисках семян.

Согласно моде он по праву
На трон садится, зная роль,
За должность борется и славу,
Да так, что ясно — гол король!

Но ты спокоен будь. Сурово
Шагай сквозь пеструю толпу,
Раздумий нить сплетая снова,
С утра тори свою тропу.

Цирк гасит свечи, кончен бал.
И горько плачет
Буцефал . . .

ПРИХОДИТ ЯСНОСТЬ

Сползает с крыши снег. Он сер и ноздреват.
И с каждым днем капель все звонче и сильней.
С мычанием коров и бляньем ягнят
Грядет через туман к нам скоро ясность дней.

Зимы холодный дар — дымки и облака.
Нечеток абрис дня, как путанный вопрос.
Метель еще пока чванлива, но мелка.
И попусту с утра бахвалится мороз.

И, словно плесень, снег ложится на порог.
И ветер в космах туч находит свой ночлег.
И сумрачная даль. И слякотность дорог.
Не время для саней, не время для телег.

И эта вот зима (в игре своих шутих
Аляповатый шут городит огород)
Сродни творцу, что тклет изысканнейший стих,
Через распутицу идя к посеву вброд.

И потому ветра над слякотью летят.
И голосит капель. И плачет талый лед.
И — ржание коней. И — блянье ягнят.
И, разрывая хмарь, к нам ясность дней идет.

Она — как зелень трав,
Как солнца яркий луч,
Что озаряет мир, продравшись из-за туч . . .

* * *

О серенькая птичка-соловей,
Тебя не видно в зарослях калины.
А как кичатся красотой своей
Надменные фазаны и павлины!

Тобою восхищаться? Стать не та,
А перышки твои — на что похожи?!
Лишь в пиршестве павлиньего хвоста
Есть красота, что проберет до дрожи.

К чему годна цыплячья мелкота,
Без острых шпор, без клювов крепче стали?!
Ареной овладел колпак шута
И роскошь — на высоком пьедестале.

Но пуст партер. Со всеми вместе я
Спешу в сады, в тенистые глубины,
Чтоб долго-долго слушать соловья,
Невидимого в зарослях калины.



В мае 1990 года



ТАМ, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ

НА БОРТУ «ВИРГИНИИ»

Андрей Седых — псевдоним Якова Моисеевича ЦВИБАКА. Он родился в Феодосии в 1902 году. В 1920 году эмигрировал через Константинополь в Париж, где стал постоянным сотрудником газеты «Последние новости», а также корреспондентом других русских эмигрантских газет, в том числе — рижской «Сегодня». Предисловие к его книге «Париж ночью» (1928) написал А. Куприн. А. Седых выполнял обязанности секретаря Буннина в период присуждения и вручения писателю Нобелевской премии. Впоследствии бежал от гитлеровцев в Америку, где стал редактором газеты «Новое русское слово». Издал почти два десятка сборников своих рассказов и очерков. Публикуемые главы из книги «Там, где была Россия» (Париж, 1931) печатаются с любезного разрешения автора.

Термометр показывал 34° по Реомюру. На деревьях желтела и выгорала листва, земля покрывалась трещинами, люди в городах не спали — они жаждали влаги, северного ветра, холодных ночей. Ничего этого не было, столбик серебряной ртути неумолимо полз вверх. В эти августовские дни нельзя было думать о раскаленных вагонах европейских экспрессов. Оставался один выход — ехать морем, из Гавра.

Молодой человек, служащий «Трансатлантической компании», знал все языки мира, умел разбираться в железнодорожных справочниках и помнил наперечет все суда, уходящие со всех европейских стоянок. К моим услугам была «Виргиния» — 12 000 тонн, отличная французская кухня. Молодой человек долго выписывал билет, похожий на дипломатический паспорт, грустно прохрустел новенькими бумажками и на прощание посоветовал быть на борту за два часа до отплытия.

Эти два часа продолжались ровно десять: «Виргиния» грузилась, надо было ждать вечера.

В порту было жарко, в воздухе стояли облака угольной пыли. В полдень работа замерла, лебедки перестали гремять, толпы грузчиков разошлись по гостеприимным барам. Здесь играла музыка, за несколько франков можно было выпить бутылку вина и вздремнуть часок на кожаном продавленном диване. Потом снова началась работа, грузчики побежали по сходням, согнувшись под тяжестью мешков с хлебом, в огромные корабельные трюмы стали спускать ящики, на которых было выведено: Каракас... Монтевидео... Сайгон...

Печатается с сокращениями.

В маленьком баре, куда я зашел, было шумно и весело. Матросы пропивали здесь свою месячную получку, с ними были женщины; они хотели танцевать, но моряки пили и горланили песни. Между столиками ходил «сиди», араб с желтым лицом, изъеденным оспой, предлагал коврики, подтяжки, кошельки, часы и порнографические открытки. Матросы рассматривали открытки, а потом отворачивали «сиди» прочь, и он отходил — не возражая; он знал, что все зависит от случая, и что если матросы перельют, они, может быть, купят у него, не торгуясь, весь его несложный товар, — тогда он будет богат целую неделю . . .

На закате «Виргиния» вышла в море.

Пятидневное плавание. Море, солнце, чайки. Пассажиры первого класса лежат в шезлонгах, закутавшись в пледы. Их немного — несколько поляков, возвращающихся в Варшаву, чиновник литовского консульства в Париже и какой-то загадочный господин неопределенной национальности, не сказавший за всю дорогу ни одного слова.

Больше оживления в третьем классе. Здесь едет группа русских евреев, высланных с Кубы. Евреи возвращаются в Ригу. Привез их на пароход жандарм и сдал на руки капитану вместе с их невероятными узлами, сундуками и корзинами.

Эмигранты сидят на носу и греются на солнце. Пробыли они в дороге несколько недель, измучились, щеки их впали, обросли жесткой щетиной. Ночью они тяжело вздыхали и рассказывали чужому человеку историю своих странствий.

— Мы бедные люди, господин, а бедным людям везде плохо. В земле им хорошо, этим людям. Мы жили в Николаеве, работали, имели свой кусок хлеба, и дети ходили в школу. Но пришли большевики. Что вы знаете про большевиков? Они разорили нас, обрекли на голодную смерть. Разве им нужны сапожники или портные? Чекисты им нужны . . .

Мы бежали в Ригу, но там жить было трудно. На нашу голову мы узнали, что можно устроиться на Кубе. Родственники из Америки прислали на поездку деньги, агент устроил паспорт, и мы поехали. Морем ехали

семнадцать дней. Прибыли. Оказывается, с первого мая Куба для иммигрантов закрыта. Продержали нас десять дней взаперти, а потом отправили обратно. И теперь везут в Ригу . . . Вот уже второй месяц везут . . .

Близко от нас прошел пароход, сияя огнями иллюминаторов. Заревела труба.

Еврей помолчал, глядя в морскую даль, и потом сказал:

— Поживем в Риге и, Бог даст, весной поедem в Колумбию. Я от шурина письмо получил. Пишет, что в Колумбии можно устроиться. Будет кусок хлеба. Дай Бог, дай Бог . . .

В третьем классе едет другая группа «возвращенцев». Они прожили в Нью-Йорке восемь—десять лет, получили американские бумаги и теперь собираются навестить родных в России. Все это молодые люди, не имеющие о Советском Союзе ни малейшего представления.

Первые дни они сторонились журналиста, но затем любопытство взяло верх. Стали подходить, понемногу расспрашивать.

— Как вы думаете, заставят нас платить на таможе за костюмы и лишнюю обувь?

— А много у вас костюмов?

— У каждого по четыре. У меня еще два пальто и смокинг. Три пары туфель. Ну и белье . . .

— Вы что делали в Нью-Йорке?

— В парикмахерской служил. Думаю устроиться в Москве. Свое всегда заработаю. Надоело, знаете, жить в Америке.

— А сколько вы в Нью-Йорке зарабатывали?

— Сорок долларов в неделю. Проживал двадцать . . .

Другие возвращенцы работали у Форда; поразила меня их необыкновенная неосведомленность о том, как живут в России. Все они убеждены, что их примут с распростертыми объятиями, сейчас же устроят на работу по специальности и что жить в Москве будет так же легко и приятно, как в Нью-Йорке. Рассказ об очередях, карточках и лишениях, которые испытывают живущие в России, встречен был недоверчиво:

— Это все мы слышали . . . В газетах пишут. Но не может этого быть. Надо своими глазами увидеть, убедиться . . .

Убедятся.

На горизонте все время дымки пароходов. Полный штиль. Пассажиры отдыхают после завтрака. Хорошенькая пани Врублевская флиртует с двумя инженерами, кормит хлебом прожорливых чаек и вообще вносит оживление в нашу монотонную пароходную жизнь. На третий день подходим к Кильскому каналу. Застопорили у шлюзов. На борт поднимаются немецкий лоцман и несколько торговцев. Они предлагают безопасные бритвы, зажигалки и дрянной шоколад. Пассажиры рады этому развлечению и покупают...

Всю ночь идем каналом. Тепло, небо в звездах. С верхней палубы доносится придушенный шепот:

— Пани ест ладна...

Обиженный голосок пани отвечает:

— Прошу заставить мне в спокойе!

В полночь иду в каюту. На верхней палубе шепот продолжается:

— Яка пенкна ноц...

— Прошу пана мне не нудить...

На этот раз голос как будто ласковой.

При выходе из Кильского канала встречаем пароход, идущий под красным флагом. На носу выведено: «Ковда — Ленинград». Вся палуба заставлена бочками — должно быть, везут соленую рыбу.

Возвращенцы заволновались, бросились к борту:

— Здравствуйте, товарищи!

— А вы русские? Куда едете?

— В Россию!

Разминулись. Но когда корма «Ковды» поравнялась с носом «Виргинии», французские матросы радостно загоготали. На корме стояли три женщины в мужских костюмах — если только так можно назвать отрепья, в которые они были выряжены. Экипаж? Советские туристы, едущие поглядеть Европу и себя показать?..

На четвертый день на горизонте показывается земля. Поляки взволнованы: предстоит высадка в польском порту Гдыня, расположенном всего в нескольких километрах от вольного города Данцига. Пять лет назад на этом плоском берегу была лишь небольшая рыбацкая деревушка. Теперь поляки решили задушить Данциг и со сказочной быстротой выстроили большой порт и образцовый город. Это соседство пока еще не особенно сказывается: в данцигском порту все еще лес мачт и труб, а в Гдыне

всего 2—3 парохода. Но на будущее время опасность есть.

С отъездом поляков, за которыми пришел катер, палуба «Виргинии» опустела.

В двадцати милях от Риги поднялся густой, молочный туман. Море побелело; светило тусклое солнце. В десяти метрах ничего не было видно. Протяжно выла пароходная сирена: другие пароходы шли в тумане, они перекликались друг с другом; радист не снимал наушников, он все время принимал по радио направление...

В Ригу пришли под вечер. На пристани толпа оборванцев и латгальских мужичков ждала, когда пароход пришвартуется; они должны были грузить лес. Мужики были русские, в смазных сапогах, в картузах. Они толкали друг друга и сочно, матерно ругались. Бабы в платочках метелочками подметали рассыпанную на мостовой пшеницу, собирали ее в торбы — для птицы. Усатый полицейский вел за руку босоногого мальчишку; мальчишка всхлипывал и молил: — Дяденька, отпусти!.. Накажи меня Бог, не буду... Отпусти, дяденька!..

Здесь была Россия.

РИГА

1

Старый извозчик придержал вожжи, опытным взглядом оценил седока и сказал:

— На Мельничную? Это можно...

Восемьдесят копейки, барин.

— Дорого! Шестьдесят дам.

— Да нет, барин, меньше восьмидесяти нет расчета. Прибавьте что-нибудь!

Сторговались. Фазтон был ободраный, довоенного времени, лошаденка полудохлая, и, как ни стегал ее безжалостный «фурман», — так в Риге называют извозчиков, — всю дорогу она плелась шагом, не обращая на хозяина ни малейшего внимания.

Я ехал по главным улицам Риги — десять лет тому назад бывшей русским губернским городом, а теперь ставшей столицей Латвии. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские — «картибнеки» — в белых перчатках, театральными жестами регулируют дви-

жение. Город наряжен, тонет в зелени; приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке.

Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торопившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истоиво перекрестилась на купол... И этот спокойный вечерний звон и эта богомольная старушка разом напомнили о России; Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и к чести латвийского правительства надо сказать, что этот русский дух в те времена не особенно старались искоренить.

Русский язык в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как латышский и немецкий. С телефонной барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистойшем русском языке, в министерстве вам обязаны отвечать по-русски; любой извозчик знает, что «Дзирнаву иела» есть не что иное, как старая Мельничная улица.

Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает. Гораздо труднее привыкнуть к тому, что у всех в руках русская газета «Сегодня». Из утренних газет она наиболее распространённая, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши. В вагоне, идущем со взморья, у всех в руках «Сегодня»; в час дня вечернее издание этой газеты буквально покрывает весь тридцативерстный пляж...!

¹ Газета «Сегодня» прекратила свое существование одновременно с независимой Латвией. 17 июня 1940 г. советская армия оккупировала Ригу. Главный редактор Михаил Семенович Мильруд и редактор «Сегодня вечером» Борис Осипович Харитон были арестованы в октябре 1940 года. Оба имели шведские визы, могли выехать и спасти свою жизнь, но предпочли остаться на посту, выпуская газету до последнего дня. Оба были отправлены в Москву и приговорены судом к 8 годам трудовых лагерей и 7 годам ссылки.

М. С. Мильруд скончался в Караганде в 1941 году.

Б. О. Харитон также был осужден и отправлен в лагерь. Дальнейшая его судьба неизвестна. — А. С.

На улицах то и дело попадаются чисто русские типы — люди в косоворотках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на рижскую мостовую латгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидите вы бабы платочки, косынки, смазные сапоги, всклокоченные бороды, услышите чистойшую русскую речь.

А за каналом начинается Московский форштадт.

Ты чувствуешь себя совсем в России. Мостовые вымощены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колонками. Деревянные ставни откинута на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетках с бронзовыми застёжками... В подворотнях девушки лущат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковками... Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской сельдью. А за прилавком отпускают покупателям лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники... У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе навыпуск и с массивной серебряной цепочкой через живот — должно быть, сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру, не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пивяки или банки. А после баньки можно зайти в трактир — в «Якорь» или «Волгу» — закусить свежим огурчиком, выпить чаю с ма-

линовым вареньем... Так живут на Московском форштадте русские люди — отлично живут, не жалуются.

На Большой Московской можно встретить замечательного человека — о. Николая Шалфеева, разгуливающего по городу, к великому смущению стариков, в штатском платье. Другому священнику этого не простили бы, но о. Николаю разрешается; все любят его и все знают, что делает это он не по недостатку веры, а просто по нежеланию обращать на себя на улице особое внимание. Впрочем, некоторые объясняют это свободомыслием: разве о. Николай не ходит в театры?

Беседовать с о. Николаем необычайно приятно. Он рассказывает о постройке нового храма, о старообрядцах, которых немало на Московском форштадте, о нравах этих людей и о старинных старообрядческих молельнях. А тем временем хозяйка дома соорудит закуску, угостит гостя ледяной окрошкой, огурчиками собственного засола, какой-то особенной водкой, настоянной на травах... Потом на столе, покрытом белоснежной скатертью, появится кипящий, посвистывающий, захлебывающийся самоварчик, варенье смородиновое, малиновое, коржики собственного изготовления, сдобные булочки. Торопиться некуда, прихлебывайте чай, беседуйте с радушными хозяевами, и изо всех углов просторной квартиры будут на вас смотреть самовары — большие, малые, медные, никелированные — на все случаи жизни...

Раз заговорили о старообрядцах, то следует рассказать и о посещении Гребенщицкой общины, помещающейся на Московском форштадте. Отправился я туда с сыном о. Николаем, знатоком рижской старины и гласным думы, Б. Н. Шалфеевым.

У ворот встретили нас староста и эконома — почтенные старики: длинные бороды, сюртуки, картузы...

Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных риз. Старообрядцы гордятся своими иконами:

— Подобных во всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет — давно секрет поте-

рели... Вот, изволите обратить внимание, Успение Божией Матери — наш храмовый праздник. А это вот Никола Беженец. В пятнадцатом году, во время эвакуации, увезли его в Москву, да влопыхах не успели вынуть из киота. Так и отправили. А вернулся он через десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось... И с той поры называем его Никола Беженец. Миняя месячная — тончайшее письмо. Если в августе родились — вашего святого разыщем... Старинная икона «Всякое Дыхание да хвалит Господа». Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц поднебесных — одним словом, всякое дыхание... Соловьиных Святых заметьте: преподобные Зосима и Савватий — пчеловодам покровители. Народную поговорку знаете: на Святого Пуда вынимай пчел из-под спуда? Так вот, пятнадцатого апреля это выходит. Тут, значит, пчеловодам и следует помолиться преподобным... А это Неопалимая Купина — от пожаров охраняет. Есть еще от пожаров и молний заступник — преподобный Никита. Ему молиться следует тридцать первого января...

Потом эконома повел в свою комнату, книги показывать. Книги были печатаны при патриархе Иосифе, в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Были здесь старинные рукописи в кожаных переплетах, Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями, другое Евангелие в окладе серебряном — все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда в древние времена, еще в 17-м столетии. Старообрядцы бежали в Ригу, бывшую тогда шведской, спасая свое «древнее благочестие» от московских царей. Когда Петр Великий взял Ригу, нашел он в городе великое множество богатых купцов-староверов. Царь немилостиво отнесся к ним, повелел стричь бороды, а многих прогнал за Двину...

Мы поднялись на колокольню. Староста ударил в колокол, отлитый в России из меди и серебра... Все вдруг загудело, и долго еще густой звук несся над Двиной и Московским форштадтом...

— Колокола наши, московские... Вернули их нам большевики после

заклучения мира с Латвией... Слава Богу, а то пришлось бы новые заказывать; в Германии теперь их делают. Да звук совсем иной, не умеют они делать, из чугуна льют. Во дворе колокол стоит, немецкий. Уже готов, дал трещину... Нет, против наших русских колоколов немцам не выдержать!..

— Не угодно ли пройти в келью наставников? Попов у нас нет, мы беспоповцы, а начетчики и наставники живут тут же, при молельне.

Заходили в светлые просторные кельи. Здесь было солнечно, пахло ладаном, спеющей антоновкой. Перед иконами светились лампы. В первой келье навстречу нам поднялся старичок, снял очки, перевязанные веревочкой, низко поклонился и сказал:

— Спаси вас Бог, благодетели наши, не забыли!.. А я тут поминальничек переписывал... Спаси Бог...

И в других кельях начетчики низко кланялись, запахивали свои драные ряски; бороды их были белы как лунь, волосы на лбу придерживал тонкий ремешок, подслеповатые глаза всматривались в лица пришельцев, сухие пальцы творили двуперстное крестное знамение.

— Вот они и живут у нас по-монашески, постничают. Много ли надо старичку благочестивой жизни?.. Есть у него келья, есть еда — он и доволен. Живут у нас шестеро старичков. День и ночь поочередно Псалтирь читают, покойников поминают... Только вот в праздники не читают, а так постоянно — друг дружку сменяют. Не угодно ли по-смотреть?

В малой молельне было темно, сыро, в углу у аналая горела тонкая свеча. Древний старик стоял в пустой молельне и громким монотонным голосом читал Псалтирь... Он читал и останавливался, прозрачными пальцами переворачивал страницу, снова принимался за чтение и ни разу не посмотрел на пришельцев — ему было это безразлично, он чувствовал себя одиноким, далеким от всего мирского.

— Да восстанет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его... Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия... А праведни-

ки да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости...

Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби важно разгуливали у ворот. На скамьях сидели старушки в черных платках, старики из старообрядческого приюта; они грели свои кости на солнце и о чем-то сосредоточенно думали...

Ударил колокол, было пять часов. Звонили к вечерне. Старички встретились, перекрестились и один за другим потянулись к молельне...

II

С весны, как только пройдет лед, и до поздней осени по полноводной Двине гонят плоты. Идут плоты из России, из-под Витебска. Растягиваются по течению реки бесконечными караванами.

Плотовщики — народ бывалый, заправский, любят брать с собой в дорогу баб: несколько недель, проведенных на воде, проходят тогда незаметно. Спят в шалашах, укрывшись рогожами, почти не раздеваясь. По ночам дрожат от холода, поднимающегося с реки, днем отогреваются на солнце. Бабы стряпают, стирают, штопают, а в трудных местах и на весла становятся.

Нелегка жизнь на плотях. Все время поглядывай, как бы затор не образовался, как бы на крутом повороте на берег не налететь. Еще, чего доброго, лопнут цепи, рассыплется бревно, и тогда собирай, лови их по течению, да и сам не плошай: сухим из воды не выйдешь... Зато когда пригнаны плоты в Ригу, проданы на распилку, — тогда есть у плотовщиков несколько дней отдыха и лишние деньги в кармане. Эти дни сплавщики леса ходят по городу, с изумлением останавливаются перед окнами магазинов, смотрят на караваи белых хлебов, на ящики с яйцами, окорока, колбасы, бочки с маслом... Всего вдоволь — нет ни очередей, ни заборных книжек, можно зайти и купить все, чего душа жаелает...

Я видел советских плотовщиков на базаре. Они ходили между рядами с красным товаром — страшные, ободранные — выходцы с того света. Был август, стояла жара, но они не снимали меховых шапок с наушниками, подвязанными кверху тесемочка-

ми. Все были в истертых полушубках или дырявых красноармейских шинелях. Ходили гурьбой, боязливо поглядывали по сторонам, придерживая за пазухой кошельки: чего доброго, беспризорный какой-нибудь выхватит!

Плотовщики долго приторговывали голенища для новых сапог. Я помог им, сделка в конце концов состоялась, и мы отправились вспрыснуть обновку в трактир «Якорь», славившийся при старике Молочаеве своей солянкой. Старик умер несколько лет тому назад, дело перешло в новые руки, но в трактире мало что переменялось. По-прежнему портовые грузчики и сплавщики леса приходят сюда выпить четверть подкрашенной водки и закусить куском жирного угря. Плотовщики приводят случайных своих подруг или базарных торговков. На столах появляются пузатые расписные чайники, нарезанная белая булка. Чай пьют с блюдечка, вприкуску, до седьмого пота.

Бойкий половой устроил нас у столика, по которому ползали ленивые мухи, взмахнул полотенцем и вдохновенно выпалил:

— Водка, пиво, чай и другие минеральные напитки! Из закусок чего изволите? Можем предложить лососину свежую, копченую и жареную. Огурчики малосольные, томат-фарси и грибки в сметане. Грибок собственного маринада. Раки. Яичница, если желаете, с ветчиной или салом. Но свиную отбивную подождать придется — четверть часика без двух минут . . .

Порешили на пиве и раках. Тут внимание наше было привлечено шумом в соседней комнате. Дрались перепившие грузчики, что-то кричали по-латышски, их разнимал подоспевший «картибнек». Половой объяснил:

— Шпана надрамались и, значит, скандалят . . .

Молча выпили, закусили горячими раками. Старший плотовщик вытер рукавом губы и с расстановкой сказал:

— К частнику попали. Тут тебе что угодно. За деньги. И раков этих самых, и, обратно, пивка холодного.

Момент был подходящий. Я задал ни к чему не обязывающий вопрос:

— Ну а как в России? Насчет еды? Все есть? . . .

Плотовщики насторожились.

— Все есть. За деньги. Только ты, дорогой гражданин, не того . . . Расспрашивать не полагается. Это нам запрещено. Обратное мы за Ригу не говорим. Каждому свое интересно, а всем вместе один интерес — еще пара пива!

Помолчали. Потом старший наклонился ко мне и заговорил, обдавая пивным духом:

— Расспрашивать не полагается, дорогой товарищ из Риги. Сегодня поговорили, а завтра неприятности. Понял? Вот это оно самое и есть.

Допили пиво и ушли, низко на глаза нахлобучив шапки; на прощание старший плотовщик сунул мне мозолистую пятерню и хитро подмигнул глазом.

Нельзя писать о Риге и не рассказать о Доме Черноголовых. Дом этот существует 700 лет, его прекрасный зубчатый фасад украшает площадь ратуши. Когда-то в древние времена на площади этой собирался римский купеческий люд; базара давно уж нет, но до сих пор над старинным колющем посреди площади стоит каменное изваяние неизвестного рыцаря, закованного в латы. Рыцарь охраняет свободу коммерции.

Черноголовые — рыцари и купцы. Общество было основано в начале XIII столетия, члены его миссионерствовали, торговали, копили богатства и защищали родной город от вражеских нападений. Нелегко стать Черноголовым. Для этого нужно быть холостым, уроженцем Риги, протестантом и принадлежать к купеческому сословию. Черноголовый с женьтибой лишается звания активного члена Общества, он может еще носить фрак и треуголку, но шпага в ножах из слоновой кости у него отбирается. В настоящее время есть только 13 Черноголовых.

На широкой лестнице гостей встретил седовласый, крепкий старик, вот уже 50 лет хранящий сокровища Черноголовых. Он повел нас по старинным полутемным залам. Со стен глядели портреты русских и шведских царей, навошенный паркет скрипел под ногами. В доме стояла удивительная тишина.

— Исторические сокровища Дома Черноголовых поубавились, — сказал нам хранитель. — Коллекция серебра, равной которой не было во всей

России, во время войны была эвакуирована в Москву. Само собой разумеется, большевики прибрали ее к рукам. То, что осталось в Риге, удалось спасти лишь ценой огромных усилий. Красные хотели уничтожить царские портреты, ставили меня к стенке, требовали выдачи оставшегося серебра. Было очень тяжело, но я выдержал — сокровищницу отстоял. После заключения мира с советской Россией Латвия потребовала вернуть ей в числе прочих эвакуированных ценностей и серебро Черноголовых. Понадобились длительные переговоры, раньше чем они согласились вернуть хотя бы часть имущества. Массивное серебро, столовый сервиз на 200 персон и многое другое до сих пор находится в советской России. Спасибо хоть часть вернули: кубки, чары, блюда старинной чеканки и серебряную статую св. Маврикия, покровителя Черноголовых.

При основании Общества покровителем его был св. Георгий. А затем Общество приняло покровительство св. Маврикия, черноголового мавра, перешедшего в христианство и обезглавленного потом неверными.

Изображения св. Маврикия всюду. Но внимание посетителя привлекают и другие портреты: Екатерины Великой, Петра I в молодости, Александра I, Николая I, Александра III. Все они побывали в Доме Черноголовых, и по традиции каждый что-нибудь оставил. Анна Иоанновна подарила свою туфельку из голубого атласа; туфелька эта слетела с царской ноги во время контрданса, на балу у Черноголовых. Александр II подарил свою фуражку, Николай II — перчатки. В витрине стоят высокие сапоги Карла XII. Король шведский потерял их в болоте во время битвы за Двиной. Щит черепаховый Густава Адольфа, плеть, которой были изгнаны из Риги иезуиты, — множество табакерок, старинных книг, историческая коллекция, составленная за семь столетий.

— Были вы у владыки? Это самая большая рижская достопримечательность. Сходите!

Архиепископ Иоанн живет в подвале собора. В его «покои» ведет узкая винтовая лестница. Посетителя сразу охватывает сырость, тяжелый

подвальный дух. Низкие сводчатые потолки, на стенах пятна сырости. Нет ни одного окна, дневной свет никогда сюда не проникает. Днем и ночью горит электричество.

Скучно живет владыка. Несколько кресел, стулья. Шкафы с книгами. Иконостасы. Над столом — большой портрет патриарха Тихона. Кровать за перегородкой. В углу, у печи — груда поленьев . . . И сырость, и темнота в углах, и тусклый свет электрической лампочки как-то сразу угнетают . . .

— У нас отняли помещение архиерейского дома, нам принадлежавшего, — объясняет владыка. — Тогда в виде протеста я поселился здесь. Делались компромиссные предложения. Хотели мне купить новый дом, но я отверг. Это значило бы оправдать беззаконие. Архиерейский дом был православным мужским монастырем, нашей святыней. Я глубоко убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует и архиерейский дом мы получим обратно . . . А помещение сие подвальное — нам к лицу, оно символизирует нынешнее, надо надеяться, временное положение православной церкви в Латвии. У нас отнят кафедральный собор, бывший усыпальницей архиепископов. Его превратили в лютеранскую церковь. И много других церквей отняли у православного населения Риги. Это тем более прискорбно, что в общем латыши хорошо относятся к русскому меньшинству и его не притесняют. А вот православную церковь загнали в подвал. Говорю это как депутат сейма и обвинение неоднократно предъявлял властям предержавшим с парламентской трибуны.

Долголетняя жизнь в подвале на здоровье моем не отражается. Здоровьем меня Господь не обидел. Все в роду такие были. Дважды благодаря своей силе избег смертельной опасности . . . Должен вам признаться, что я гимнастикой занимаюсь. Летом в деревне работаю, на поле, в огороде, или плотничаю . . . С саном моим сие совместимо.

Сила у нас передается от отца к сыну. Дед мой покойник, царство ему небесное, однажды рассердился на коня и легонько стукнул его кулаком по голове. А конь свалился и тотчас же околел . . .

В молодости, до поступления в духовную семинарию, избыток сил смущал меня. Одно время думал стать борцом и даже учился этому искусству... В Риге живет один старый борец, так тот до сих пор называет меня: коллега...

В молодости и на Волге приходилось жить. Однажды крючники задевать стали: «Ты бы, батя, с наше поработал, мешочек бы поднял». Ничего я им не сказал, взял мешочек на спину и понес по сходям. Выпучили глаза мои крючники. «Что ты, батя, в монастыре пропадаешь? К нам иди, в крючники, большую деньги зарабатываешь!» А то случилось раз такое. Колокол вернули нам из Москвы. Хороший колокол, в четырнадцать пудиков весом. Специалисты разные собрались, обсуждают, как его на колокольню поднять... Леса какие-то строить хотят на блоках... Посудили, поспорили и разошлись... А я взял этот колокол на спину да и понес его наверх. Оно проще, да и не так хлопотно. А то еще недавно такой случай был. На взморье прибегает ко мне шофер: «Владыка, Ваше Высокопреосвященство, помогите автомобиль вытащить! В грязи завяз. Кроме вас, никто не сможет — силы не хватит». Подобрал я ряску, поднатужился и вытащил автомобиль... Вот и сила пригодилась...

Долго еще слушал я удивительные рассказы архиепископа из подвала¹.

УМИРАЮЩИЙ ДВИНСК

Поезд из Риги уходит вечером, а в Двинск приходит только рано утром. Торопиться некуда — есть спальные вагоны, за ночь можно отлично выспаться, а с утра отправиться по делам. Неторопливый этот поезд имеет свое прозвище: мужики зовут его ласковым именем «Максимка».

На каждой станции «Максимка» останавливается, отдыхает минут 10, а го и 15. Как только поезд замедляет ход, из вагона на насыпь начинают лететь туго набитые мешки, лопаты, ведерки. Потом из вагона выбрасыва-

¹ Владыка Иоанн был убит советскими агентами в своем подвальном помещении при весьма загадочных обстоятельствах в ночь с 12 на 13 октября 1934 года. Искрытие показало, что убийцы подпергли архиепископа жестоким пыткам.

ется сам бородатый обладатель инструмента. Не торопясь подбирает свое имущество и идет к буфету III класса.

В Латгалии малоземельным крестьянам каждый год приходится отпирать на отхожий промысел. Когда была Россия — шли в Москву, в Питер. Теперь граница закрыта. В Риге и своих безработных много. И вот русские крестьяне ездят от станции к станции в поисках заработков.

Работа одна — рытье канав для осушки болот. Труд каторжный — целыми днями стоять в болоте, во колени в воде. Платят за это гроши, но выбора нет — приходится осушать болота.

Со мной вместе ехал паренек в дырявых сапогах, жалкий и, видимо, голодный. Всю ночь жевал черный хлеб. На станции я купил колбасы и угостил его. Он поблагодарил и в одну минуту съел полфунта. Потом надул щеки, икнул и мечтательно сказал:

— Чайку бы теперь!.. Жалко, чайничка нет, а то сбегал бы на станцию, кипяточку попросил бы, тебя потопчевал бы...

— Ты куда едешь?

— В Борисовку. Работу искать.

— Что ж, дома работы нет?

— Дома ничего нет.

— А земля как же?

— Нет земли. В отца земли не было, и в меня земли нет. Безземельные мы. Не вышло, значит. Каждому по мерке, а нам не вышло.

— Трудно жить?

— Очень трудно, господин. Низкому классу теперь жить никак невозможно. Раньше работа была, а теперь — горе одно. И податься некуда... Так на болоте и сидишь, воду голенищем черпаешь, через дыры выпускаешь... Канавки роешь. И за то спасибо!..

Поезд подходит к станции, пронзительно свистит, дергается несколько раз и наконец останавливается. Часть пассажиров сходит. Вместо ушедших в вагоны врывается толпа мужиков. За ними прут бабы с лукошками. Кое-как размещаются на деревянных скамьях. Потом начинают устраивать вещи:

— Эй, тетка, убери лукошко-то...

— Куда ж я его убяру?

— Пастой, погоди малость, для тебя вагон прицеплють...

Двое парней тянут за ноги спящего мужика:

— Борода, ты не того!.. Ножки скинь. Местов нету.

Борода храпит.

— Прикидывается, сукин сын! Тяни его за эти самые... Через этих спальных пассажиров ж... некуда положить.

В другом углу старушка рассказывает о своем горе:

— И ничего ты с такой штукой не поделаешь. Ничего. Колтун образовался. А конь хороший, работающий. Вся сила пропадает. Я его у больницу водила. Посмотрели, пощупали, проколоть, говорят, надо. Кто же его прокалывает, колтун этот? Я, милые, без мужика. У меня конь единственный. Мне прокалывать никак невозможно. Через это прокалывание конь пропадает. Тут наговор должен быть — наговор от такой болезни имеется, да только я его не знаю. И советовали мне съездить до знахаря...

Старушка говорит еще долго, но ее никто не слушает. Почти все в вагоне уже спят, подложив мешки под голову. Тускло светит свеча в фонаре. Раздается храп. Мужики что-то бормочут во сне, тяжело ворочаются с боку на бок, свешивают ноги на головы сидящих внизу. Воздух — хоть топор вешай. Пахнет давно не мытым телом, преющей портянкой, потом, кислыми щами, водкой и крепким табаком... Отправляюсь в спальное купе.

Двое мужиков останавливают меня на площадке:

— Который час будет, барин?

— Двенадцатый.

— Так... К утру, значит, на месте будем.

— А вы — русские?

— Нет, мы католики.

— Как католики? Русские или латыши?

— Мы — римско-католической.

— Да я не про веру вашу спрашиваю. Национальности какой?

— А национальности мы будем католической. Католики, значит!

Длительное объяснение. Крестьяне стоят на своем. Они рассказывают мне, что латгальских католиков латыши называют обидным словом «чангаль». Латгальцы не остаются в долгу и называют латышей-лютеран «чиулами».

— За такое слово, да если при

свидетелях, у мирошки три недели полагается. Но опять же, и им не спускают — три недели за чангала...

Позже мне приходилось встречаться с такими же крестьянами. Говорят они на чистейшем русском языке, но русскими себя не называют. На вопрос о национальности неизменно отвечают: православный или католик. Среди русского населения Латвии много католиков. Вообще религиозного единства здесь нет: на крестьянскую массу распространяют свое влияние православная церковь, католическая и старообрядцы, которых в Латвии до ста тысяч.

Единственный извозчик, оказавшийся у вокзала, содрал с меня втридорога. Все же за 2 лата он зялся отвезти в гостиницу.

— Дешевле нельзя, барин! Целый день стоишь, а больше 2—3 седюков не найдешь... Тут с лошадьёю не прокормишься.

Только попав в Двинск, я понял, что Рига действительно имеет право быть столицей Латвии. Какая глушь, провинция, тишина! Фазтон безжалостно подпрыгивает по булыжнику мостовой, две-три босоногие бабы метут улицу, да солидные дворники поливают из леек кирпичные узкие тротуары. Кроме них, на главной улице ни души, а уже восьмой час. На пустынной церковной площади лежат кучи навоза — здесь, должно быть, накануне был базар. Какой-то белоголовый мальчишка нацеливается на главную кучу и с разгону врывается в нее... Конский помет летит во все стороны. Посреди площади есть еще один человек, какой-то мужик, в рубахе навыпуск. Он стоит пять минут, десять — не то ждет кого-то, не то просто любитесь вывесками закрытых трактиров. А на вывесках можно прочесть чудесные вещи; только, должно быть, мужик неграмотный. На одной нарисован красавец-борец. Он держит над головой пенящийся бокал, а сбоку выведено: «Заграничные минеральные воды». На другой вывеске: «Очки, пенсне и разные хозяйственные предметы». Далее местный живописец изобразил дегенеративного субъекта и снабдил его надписью: «Театральные и светские парики». Внимание приезжего привлекают и афиши. В воскресенье в соседнем ку-

портном городке, при участии военного духового оркестра, состоятся выборы «Мистера Погулянки». Мисс Погулянка, должно быть, давно выбрана. Теперь добрались до мужчин. В синема идет германский боевик «Преступная страсть д-ра Георге». Чтобы не вводить жителей города Двинска в заблуждение, директор синема обстоятельно объясняет: «Сильная драма великой любви и великих страданий в 12 частях на животрепещущую тему о внебрачной любви, половой извращенности и ее ужасных последствиях — неизлечимых болезнях». После сильной драмы великой любви и великих страданий обещано «Черное Домино» — «роскошный роман в 10 частях».

Красиво живут в Двинске!

Если вам нужно что-либо купить в субботу, поезжайте в Режицу, в Ригу, куда угодно, только не в Двинск. В субботу все двинские магазины закрыты. Евреи идут в синагогу, в новых картузах и сюртуках. В этот день во всем городе работает только один еврей — рыжий чистильщик сапог, — существо в высшей степени неудачное и обремененное многочисленным семейством.

Пока он ногтями соскабливает с моих ботинок грязь, я успел узнать, что евреям живется плохо, что их в Двинске 15 000, все хотят есть, а торговля стоит.

— Город умирает! Разве вы знаете, что такое был Двинск до войны? Теперь это могила...

Двинск действительно производит впечатление умирающего города. Когда-то он был важным железнодорожным узлом. Отсюда шли поезда на Петербург, Варшаву, Ригу, Орел, Либаву, Ровно. Теперь ничего этого нет. Большой вокзал Северо-западной железной дороги стоит заколоченный, полуразрушенный. Вместо 120 000 жителей осталось меньше 50 000. Во время войны много людей бежало в глубь России, бросив свои дома на произвол судьбы. Обратные они не вернулись. Дома стоят незанятые, постепенно разрушаются, их растаскивают по частям. Закрылись железнодорожные мастерские, на которых когда-то было занято до 4000 рабочих. Слободки опустели, рабочие разъехались, торговля не идет.

... Ботинки мои давно сияли как зеркало, а чистильщик все еще бешено наводил на них последний лоск.

— Слушайте, — сказал я ему, — мне нужно купить носовой платок, обязательно нужно. Укажите мне какой-нибудь открытый магазин...

Чистильщик сокрушено посмотрел на меня: ему было стыдно за человека, не знающего, что такое день субботний.

— Вы не купите носового платка. Еврей не откроет лавку ради вашего насморка. Потерпите до завтра!

И он снова заработал своей бархаткой. Это был артист, король всех двинских чистильщиков, он никогда не был доволен своей работой, ему казалось, что люди созданы только для того, чтобы иметь безукоризненно начищенные сапоги...

У СТАРООБРЯДЦЕВ В ЛАТГАЛИИ

Депутат латвийского сейма М. А. Каллистратов предложил мне съездить в деревню Борисовку, к его избирателям — старообрядцам.

— Там вы увидите настоящую Россию.

Из Двинска выехали на рассвете, часа в четыре. Было воскресенье, в разных углах Двинского и Режицкого уездов были назначены народные собрания с участием депутатов. В нашем вагоне оказалось их несколько, ехавших в свои избирательные округа.

Крестьяне, должно быть, знали о предстоящем визите депутатов. На каждой станции они ждали поезда. Увидев Каллистратова, снимали шапки и подходили с претензиями:

— Мелетий Архипович, как бы вас повидать?.. Дельце малое имеется.

— Приезжайте в среду в Режицу, тогда и поговорим.

— Господин Каллистратов, на тебя последняя надежда...

— Обижают, барин...

Депутат сердится:

— Какой я тебе барин? Стыдно, отец!

На одной станции подошла толпа мужиков. Самый старый поклонился в пояс и начал жаловаться:

— Господин Каллистратов, Мелетий Архипович, большую обиду народ терпит. Возьми меня, к примеру. Погорел я в тыща двадцать восьмом году. С прошлого года погоревши,

выходит. Избенка пропала. А застрахована она была в двадцать тысяч рублей. Четырнадцать тысяч выплатили, а за остальными все ходим и ходим. Большую обиду терпим!..

Мужики все сразу загалдели:

— А называется страховая касса от огня! Они только надсмехаются от нас. «Надо было гореть раньше, когда деньги были». Так и говорят, ей-Богу! Сорок раз ездили в Режицу, а пользы никакой. Кому пятнадцать тысяч дали, кому восемь, а другие задаром ездют, лошадей зря гоняют. Изб нельзя достроить, в банях да в сараях живем.

Депутат расспросил толком, записал, обещал похлопотать. Кондуктор засвистел. Старик вдруг всхлипнул, поклонился низко и рыдающим голосом закричал:

— Большую обиду терпим! Не оставьте нас, господин Каллистратов, в темноте нашей... Понапрасну обиду терпим!..

Поезд тронулся, а старик все еще кланялся, всхлипывал, вытирал кулаком глаза и рассказывал самому себе о тяжелой обиде...

На станцию выехал за нами член волостной управы Шутов — молодой, толковый парень. Пока он запрягал лошадь, мы купили у босоногой девчонки яблок-опадышей. За меру — большую жестяную кружку — девчонка брала 5 рублей (50 сантимов). Мужики выбирали яблоки поспелее и накладывали кружку через верх, горкой, так что выходило 5—6 лишних. Девчонка ругалась, пыталась снимать излишки, но мужики сурово покрикивали на нее:

— Ну, ты, востроносая! Деньги получай, а до яблок на касайся.

— Вот тебе четыре рубля. Хватит. Небось яблоки-то своровала...

Лошадь тем временем была запряжена, в телегу наложили свежего сена.

— С Богом!

Латгалия славится своими лошадьми. Рыжий наш жеребец сразу пошел крупной рысью. И тут я разом почувствовал себя на территории бывшей Российской империи. Дорога была ужасная, вся в ухабах. Нас бросало и швыряло во все стороны, пыль стояла столбом, солнце пекло немилосердно.

— Это еще ничего!.. А вот осенью

тут не проехать. На большаке еще кое-как, а тут, на проселочной, не выберешься... Лошади по брюхо.

До Борисовки было верст 12. Вокруг нас широко раскинулись поля. Приближалось время жатвы, золотая рожь волновалась под ветром, ходила волнами. На горизонте стояли ветряки; было воскресенье, ветряки не работали. Какой-то парень в кумачовой рубахе бежал межой, размахивая руками, что-то кричал нам. Шутов попридержал лошадь, подождал бегавшего:

— Мелетий Архипович, а я вас караулил. Мне нынче сказывали, что вы в Борисовку поедете. Дельце до вас есть.

— Приезжай в Режицу, там поговорим.

Потом остановились на полпути, у избы председателя центрального старообрядческого комитета Колосова. Хозяин сидел в красном углу, под образами, закусывал и пил чай. Борода его веером раскинулась по вышитой синей рубахе; брови, необычайно длинные и закрученные, как усики, торчали вперед, и глаза посматривали весело, лукаво.

— Собрание у вас... А я на охоту собирался. Ну да уж поедем вместе. А пока лошадь покормят — милости прошу, стаканчик чаю.

На столе по случаю Успенского поста стояла рыба, грибы, свежий мед, варенье.

— За холмом Борисовка будет!

Через пять минут мы вкатили в деревню, вытянувшуюся по обеим сторонам большака. Избы стояли черные, покосившиеся от времени. Собаки с яростью на нас набросились, но их быстро отогнали кнутами. Оказалось, что собрание придется отложить на час: на деревне умерла старуха, и теперь ее отпевали. Пошли поглядеть на похороны.

Старообрядческая молельня была полна. Слева, за особой перегородкой, стояли женщины в черных платках. Справа — мужчины, все бородачи, в длинных кафтанах до земли. Народ все время прибывал. Крестьяне входили, низко кланялись обществу, трижды крестились и застывали неподвижно, как в строю. И на всех лицах, у дряхлых стариков, у молодых, у малых детей, было одно и то же выражение: торжественное, сосредоточенное и умиленное. Впере-

ди, у стены с иконами, на двух табуретках стоял гроб с покойницей. Начетчик ходил с кадилом, а толпа грамотных мужиков у аналоя нестройно пела молитвы.

Они пели монотонно, бабы подпевали тоненькими голосами; их пение было страшным, рыдающим. Наступил момент прощания. Из толпы по двое стали выходить мужики. Становились по бокам гроба, низко кланялись всему миру. И все молящиеся кланялись им в ответ. Потом прощавшиеся крестились, падали ниц, били покойнице земной поклон, трижды касаясь лбами холодных плит молельной. А встав, кланялись друг другу и уступали место.

— Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, — заунывно тянул хор. Тяжко вздыхали мужики. Гроб заколотили, подняли на полотенцах и понесли под гору, на кладбище. Там росли высокие травы, шумели столетние сосны, оттуда открывался вид на бесконечную равнину. На звоннице ударили в «било», и, пока зарывали покойницу, погребальный звон плыл над равниной, над полями, над далекими деревнями и хуторами...

Послушать депутата собралась вся деревня — стар и млад. Накрапывал дождь, но, несмотря на это, люди простояли под открытым небом два часа, внимательно слушая оратора. Только когда дождь полил как из ведра, перешли в молельню...

Депутат говорил о насущных крестьянских нуждах, о том, что мало земли, что нет леса, что пора выходить на хутора, да нет для этого средств. Толпа поддакивала:

— Правильно, Мелетий Архипыч, правильно!

Какой-то рослый мужик в армяке вдруг вырвался вперед и ни с того ни с сего бешено закричал:

— А почему такой беспорядок происходит? Потому что не идем один за одним. Сил у нас не хватает. Я извиняюсь, господин Каллистратов, почему с меня дважды подушный налог взяли? Подступили бумажку: подпишись, да и ступай вон! Потому, не идем один за одним!

Затем опять говорил Каллистратов. Когда он упомянул о журналисте, приехавшем из Парижа, чтобы поглядеть, как живут русские люди, крестьяне все поклонились:

— Это спасибо, что не забывают!

Зашли на минуту к старосте и начетчику меду попробовать, а потом отправились в дом к Шутову, где уже был накрыт стол. В избу набилось человек двадцать. Пошли вокруг стола стаканы и кружки с крепким пивом, крестьянской «кумушкой», от которой люди быстро хмелеют. Накануне хозяин сварил 15 ведер пива, и теперь предстояло его выпить...

За столом сидели часа три. Хоть и был пост, но молодые ели баранину, мясные щи, котлеты. А старики закусывали огурцами, жареными ершами, селедкой. Стаканов было мало, они переходили из рук в руки, и женщины, не садившиеся за стол, подливали, подавали новые тарелки и смиренно кланялись:

— Извините, пожалуйста!

В избе становилось душно, хмельно; постепенно все заговорили, перебивая и стараясь перекричать друг друга. Потом запели молитвы: старообрядцы не поют песен. Пели заунывно, опустив голову на грудь, размахивая в такт руками... К концу обеда стали подходить крестьяне и рассказывали все одно и то же: о подушном налоге, о недоимках, о том, что надо бы молельню отремонтировать, да денег нет, да и канаву не грех вырыть для осушки болота.

— Земля у нас сырая, холодная. Влаги этой самой много. Ты ковырни ее, землю эту, из-под сапог вода идет... Оттого и родит плохо. В других уездах нынешний год урожай, овсы по пояс, а у нас от земли не выдать...

— ... Ну, выпьем, Сядой!..

Подошел старик в драном армяке. Начал расспрашивать:

— Как там у вас, у Парижу, мужики живут? Как у нас али как лучше?..

— Нет в Париже мужиков, отец!

— Понимаю. Торговый город, значит. Вроде как Рига. Но как вы приехавши, то вам виднее будет. А только мы здесь очень отощали. Прошлый год такая бяда была, такая бяда!.. Где градом побило, а где водой затопило. И выдали нам семена — за это им, правительству, значит, спасибо. Только долги заели. Прямо душат и душат. Ты посуди: зямли двенадцать десятин, а детей семеро — мал-мала меньше. На рубаху денег нет,

пинжак в дырках, с людей, барин, стыдно! Так и ходишь оборванный, как цыган какой-нибудь. И работы нет никакой. Раньше пойдешь в Россию, зиму поработаешь. Домой вернулся, и в кармане семьдесят, а то и 100 целковых. И живи спокойно. А теперь куда пойдешь? . . .

Говорили речи, качали депутата, качали приезжего журналиста . . . Потом на руках несли до лошадей и на прощание просили:

— Вы уж нас у Парижу не забудьте. Напишите за нас, может, облегчение какое выйдет! И покорно вас благодарим, господин Сядой.

На козлы сел Колосов, хлестнул изо всей силы и пустил коней вскачь. Мы летели по страшным латгальским дорогам, схватившись друг за друга, еле удерживались на поворотах. Встречные люди сторонились, а депутат привычным жестом снимал шляпу и ласково кричал бабам:

— Ну, прощайте, тетушки!

Двенадцать верст проскакали без передышки, но к поезду все же опоздали. Ночью пришлось сидеть в буфете, тускло освещенном лампой «молния», пить бесконечные стаканы чая и говорить о тяжелой нужде латгальского крестьянства.

НА ГРАНИЦЕ СССР

Попасть на советскую границу нелегко. Пятнадцативерстная пограничная полоса находится на военном положении. В каждом чужом, не местном, человеке видят шпиона. Здесь их действительно много — вся местность кишит ими. Документы могут быть в образцовом порядке, но первый же встречный пограничник задержит вас и препроводит в политическое управление. Пока будут носиться с Ригой, устанавливать личность задержанного — пройдут 2—3 неприятных дня . . . Поэтому я решил обставить свою поездку всеми мерами предосторожности.

Министерство иностранных дел всячески облегчает задачу журналистов. Но когда директор отдела печати А. Х. Бильман узнал о моем намерении побывать на границе, улыбка сошла с его лица:

— Это будет очень трудно, очень трудно . . .

— Альфред Христофорович . . . Доктор Бильман — сам старый

профессиональный журналист. Он понял и отправился к министру. Через десять минут зазвонили телефоны. Министерство иностранных дел снеслось с министерством внутренних дел. Отсюда дали знать в пограничное управление. Из управления протелеграфировали на границу о предстоящем визите журналиста. На всякий случай д-р Бильман снабдил меня карточкой, открывающей все двери.

— Теперь — поезжайте . . . Только не попадите по ошибке на советскую территорию! . . .

До отхода петербургского поезда оставалось двадцать минут. Я вышел на платформу. Все вагоны были латвийские, и только в голове состава было два советских: «мягкий» спальный и «жесткий» — по-старому III класс. На вагонах было тщательно выведено:

Рига — Ленинград
Через Ритупе, Остров и Псков

Рядом прогуливался верзила в синей форме советского железнодорожника. Я спросил, нельзя ли ехать в его вагоне?

— Ежели в Латвии остаетесь, то нельзя. А которые до Пскова или Ленинграда — пожалуйста. За два червонца в мягком. Спи всю ночь в полное удовольствие. Через границу передем — шибко пойдём. А тут на каждом полустанке останавливаются.

— Много народу в Россию едет?

— Не особенно. Больше наши, советские. Которые из командировок возвращаются, служащие из полпредств разных . . . Эти нос дерут. Или нэпманы заграничные — англичане да немцы. И наши нэпманы — те больше из жидов.

— Как из жидов! Я думал, вы коммунист, а оказываетесь антисемитом . . .

— Коммунист и есть. Ленинского набора. С двадцать четвертого года в партии состою.

— А разве можно коммунисту «жид» говорить?

— Коммунист, гражданин, то особая статья, а жиды — особая. Раньше помалкивать приходилось, а теперь можно сколько угодно. Теперь Троцкого нет. Был, да весь вышел. Троцкий у еврейской нации в главных заступниках состоял. А как сняли его с работы за предательство рабочего

классу, то и этой самой нации туго пришлось — на них чистку устроили. Я, может быть, на всех фронтах бился, и мне еврейские издевательства из мягкого в морду смеяться не имеют никакого полного права . . .

На этом разговор наш прервали. Поезд тронулся . . .

В купе было еще два человека, с которыми меня познакомил в Риге: член пыталовской уездной управы С. И. Трофимов и начальник латгальской пограничной стражи капитан Янсон. Ехали мы вместе до станции Яунлатгале — бывшее Пыталово.

— Тут до вас один журналист из Парижа приезжал, — рассказал мне С. И. Трофимов. — Из «активистов». Собирался пробраться в Россию «с целью совершения террористического акта». На самом деле нужно было ему наладить связь на той стороне. Приезжает он зимой. Выхожу на станцию встретить его. Стоит трескучий мороз, всюду горы снега. Из вагона выходит человек с мрачным лицом заговорщика. На нем — черная фетровая шляпа с широкими полями, легкое демисезонное пальто и открытые туфли. Вид у него был адски конспиративный. Не хватало только кинжала и плаща. Сжал мне руку, испытующе посмотрел в глаза: можно ли, мол, довериться, и глухим голосом сказал: — «Найдите мне верного проводника!» Проводник нашелся, и парижский «активист» через день уехал . . . в Париж.

Спать нам не хотелось. Начал расспрашивать капитана о жизни на границе.

— Скучать нам не дают . . . Часто перебегают. Еще недавно, ночью, на латвийскую сторону пришла группа оборванных мужиков. На них страшно было смотреть. Привели их в караульный дом, а они просят: «Христа ради, дайте хлебнушка . . . Помилосердствуйте, отощали больно!» Пограничники сжалились, дали им по краюхе хлеба. У мужиков — слезы из глаз: не знали, как благодарить! Следующей ночью мы отпустили их обратно. Но их задержали там при переходе . . . Должно быть, в Сибирь теперь отправят . . . Бегут духоборы, прожившие несколько лет в коммунистическом «раю». Они приехали из Канады с большими средствами, оставили в России тысячи долларов и теперь счастливы, что вырвались.

В конце июня¹ был такой случай: границу перешла целая семья из четырех человек. Добровольно явились на первый же пост:

— Спасите! Больше не было сил . . .

Надо вам сказать, что просто беженцев мы обязаны возвращать обратно. Иначе к нам из России хлынули бы десятки тысяч людей. Но политических мы оставляем. Возвращать таких — значит, подводить людей под расстрел. Начал я допрашивать: кто такие, почему перешли границу? Вижу — интеллигентные люди. Отец семейства — инженер, бывший полковник. Я сам Владимирское военное училище окончил когда-то . . . Короче говоря, вижу, что этих людей нужно оставить в Латвии. Были они измучены, напуганы, буквально дрожали на допросе . . . Я их успокоил и пригласил обедать. И вот, когда эта семья очутилась в столовой, за столом, уставленным едой, инженер не выдержал и расплакался:

— Спасибо . . . Если бы вы вернули меня за кордон, клянусь вам, я повесился бы на первом же суку! . . .

Наутро приехали в Пыталово, расположенное всего в четырнадцать верстах от границы. Это — предпоследняя латвийская станция. Прихода поезда ждала толпа оборванных крестьян, окруживших Трофимова. Пыталово — совсем русское местечко, население здесь сплошь русское, православное. Есть управа, и в ней четыре члена: два русских и два латыша. На 108 000 жителей в уезде около 50 000 русских.

Когда-то здесь была куцая деревенька, а теперь латвийское правительство решило создать уездный город. Всюду строят новые дома, возят лес, камень. По дворам стучат топоры. Какой-то босоногий парень кричит силпым голосом:

— Митя, а Митя . . . иди, что ли, подсоблять! . . .

Митя не появляется, и парень покорно принимается ворочать бревна в одиночку.

Баба с коромыслом идет по воду, лукаво поглядывает из-под платка, низко надвинутого на глаза . . . Стая белоголовых, босоногих ребятишек

¹ Этот и большинство сообщаемых ниже фактов относятся к лету 1929 года.

хоронит живую кошку... На пустырях перекликаются петухи. Изредка на главной улице прогрехочет телега, а потом снова наступает тишина. Только гудят телеграфные провода...

По средам в Пыталово бывает базар. Из окрестных деревень приезжают сюда крестьяне, продают и покупают, а после сделки отправляются в чайные или колониальные лавки — за гостинцами. Но в этот день базара не было, улица была пустынна, во всем местечке нашелся один-единственный праздношатающийся человек — чужак, приехавший из Парижа ради этих босоногих ребятишек, горластых петухов и бревенчатых изб...

На следующее утро, часов около девяти, к крыльцу подали два тарантаса, запряженных сытыми латгальскими лошадьми. Дул холодный ветер, моросило. Легкое парижское пальто оказалось для поездки непригодным. К счастью, у Трофимова нашелся бараний полушубок и синий картуз, заменивший шляпу с Итальянского бульвара. В полушубке было тепло и уютно, а кожаный козырек картуза защищал глаза от ледяного ветра.

Капитан сел со мной в первый тарантас, С. И. Трофимов поместился во втором вместе с районным начальством. Возница в военной форме положил на всякий случай револьвер в кобуру. Мы покатали, подпрыгивая на ухабах.

Выехали за деревню. Капитан сказал:

— До границы четырнадцать верст. Но когда мы приедем туда, чекисты уже будут знать, кто едет и зачем.

— Каким образом?

Капитан ничего не ответил...

Позже я узнал, что агентура по обе стороны границы поставлена превосходно. На латвийской стороне имеются советские агенты, но и немало чекистов дают сведения латвийской разведке. Все это, конечно, хорошо оплачивается. Зато начальник латвийской пограничной стражи за два дня вперед знает о предстоящем переходе важного советского агента, о том, где он попытается перейти и с каким именно поручением идет в Латвию.

— Впрочем, у большевиков теперь новая система. Когда им нужно переправить через границу какого-нибудь агента, вдруг на определенном участке они поднимают стрельбу. Дело происходит ночью. Естественно, вдоль границы тревога. На этот участок немедленно стягивают все силы. Будьте уверены, что в это самое время на соседнем участке с ослабленной охраной советский агент переходит на нашу сторону. Не всегда переход этот проходит для него благополучно. Мы узнаем и вылавливаем чужих раньше, чем они успевают добраться до станции и сесть в поезд. Вот и вчера вечером мы поймали одного чекиста... Но самое неприятное — это то, что чекисты вооружены до зубов и не сдаются без боя. Недавно еще они убили таким образом одного латвийского пограничника.

Этим летом был такой случай: кто-то из советских попытался бежать к нам. Должно быть, чекисты знали, в чем дело. Отрезали ему дорогу. Дело происходило в ста саженях от границы. Перебегчик залег в кустах и стал отстреливаться из нагана. Наши хотели спасти человека, но едва лишь они показывались из-за прикрытия, чекисты открывали по ним огонь. Так они и пристрелили беднягу — на своей, правда, территории. Кто был этот несчастный, мы так и не узнали...

Лошади заморились и пошли шагом. Мы проезжали деревни, разбросанные вдоль дороги. Проехали деревня Вышгород на холме. Здесь при царе Иоанне Грозном был стрелецкий аванпост — отсюда высматривали стрельцы приближение врагов к московской земле. Теперь Вышгород — простое село, давно утратившее память о прошлых событиях...

Дул северный холодный ветер. Над голыми полями ползли низкие облака. Стал накрапывать мелкий дождь. Вдруг мой спутник приподнялся на сиденье и показал вперед рукой:

— Видите эту рощицу? Там — Россия.

Россия показалась сразу за поворотом дороги. Мы выехали на берег небольшой речонки Лжа.

— Левый берег — латвийский. Правый принадлежит советской России.

Всего 10—15 метров отделяли меня от России. Лжа текла лениво, теряясь в песках. Даже мелкие камни торчали из воды; посреди реки рос густой тростник. Десятилетний ребенок мог бы перейти здесь вброд.

Русский берег мало чем отличался от латвийского. Те же холмы, кустарники, лес на горизонте. Нескольку бревенчатых покосившихся изб. Некоторые избы заброшены, их теперь растаскивали на дрова. Хозяева либо бежали в глубь России, либо их выселили в Сибирь. Вдоль всей советской границы можно видеть такие полуразрушенные избы, даже целые деревни, брошенные на произвол судьбы; население их оказалось неблагонадежным, власти угнали крестьян из пограничной полосы. Иногда на место угнанных присылают коммунистов, надеяют их землей, лесом, готовыми домами. Таким путем за последние годы в пограничной полосе образовалась довольно значительная коммунистическая прослойка. Новопоселенцы одновременно играют роль агентов ГПУ, внимательно следят за границей, за движением в пятнадцативерстной полосе и имеют право арестовывать подозрительных людей. Правом этим они широко пользуются. Самое трудное — не переход границы, а пограничная полоса. Здесь все знают друг друга, за каждым следят, отсюда нужно выбраться, не встретив ни одного человека, ибо первый же встречный донесет в ГПУ.

Отправились берегом Лжи. Шли довольно долго, не встречая ни души. Казалось, попали в какое-то мертвое царство, в чумную полосу, которую избегают живые люди. Время от времени в кустах раздавался пронзительный свист. Как из-под земли выростал латвийский пограничник, вытягивался в струнку и рапортовал начальству. На одном участке нам сказали, что прошлой ночью была стрельба. С советского берега кто-то открыл огонь по латвийским пограничникам. Всего было выпущено пять пуль. Одна попала в крышу сторожевого поста.

Наконец-то мы увидели советских граждан. На противоположном берегу, у самой воды, два мужика косили траву. Шли они босиком, равномерно помахивая косами, и ряды мокрой высокой травы бесшум-

но ложились им под ноги. Трофимов крикнул:

— Бог на помощь!

Мужики остановились как вкопанные, разинув рты. Потом снова принялись косить, так и не ответив на наше приветствие. Капитан объяснил, что под страхом выселения советским гражданам запрещается разговаривать с людьми с латвийской стороны. Достаточно одного слова, чтобы попасть в Сибирь. Сколько драм разыгрывается на этой почве! Есть деревни, разрезанные пополам. Часть отошла к Латвии, другая осталась за Россией. Сын живет на одном конце деревни, отец на другом. Проходят годы, и эти люди глядят друг на друга только издали, не смеют сказать ни одного слова. На одном хуторе зажиточная крестьянка жаловалась мне, что ее мать, живущая в семи верстах от границы, нищенствует.

— А я ничем помочь ей не могу. И писать боимся. Там старуха с голоду помирает, а мы здесь хлеб свиным скармливаем . . .

В самом начале, в голодные годы, существовали на границе товарообменные пункты. Тогда еще крестьяне сходились на час-другой, помогали друг другу. Теперь все это кончилось: двери огромной тюрьмы наглухо закрылись . . .

— Советский пограничник!

Из-за угла хаты вышел человек в длинном непромокаемом плаще. Я надеялся увидеть остроконечный шлем, но был разочарован: советские пограничники носят вместо шлема зеленую фуражку старого образца.

Он шел вразвалку, руки в карманах, и винтовка ненужно болталась за его спиной . . .

Пограничник остановился и стал нас внимательно разглядывать. Увидев, что мы собираемся сниматься, он поспешно отошел в сторону и забрался в наблюдательную яму, из которой виднелась только его голова. Мы снялись, потом медленно пошли вдоль берега. Советский пограничник вылез из ямы и пошел за нами следом, не отставая ни на шаг. Мы остановились, остановился и он. Двинулись дальше. Чекист шел за нами с деланно равнодушным видом.

В одном месте мы поднялись на

мельничную запруду и дошли по узкой плотине до середины реки. Здесь плотина была поделена на две части — мельник протянул поперек колючую проволоку. Дальше нельзя было идти — дальше была советская территория, там ждал чекист с винтовкой...

Запруду починяли. Двое мужиков на плотине пилили бревно. Третий полез в воду, как был — в штанах. Он стоял по колено в ледяной воде, налаживал бревно, лязгал от холода зубами и громко матерно ругался.

Трофимов крикнул:

— Мишка, подойди-ка сюда!

Мишка вылез из реки. С его заплатанных штанов, прилипших к телу, в три ручья лила вода. Он любезно осклабился, снял картуз и бойко поздоровался:

— Сергею Иванычу... Мое нижайшее.

— Слушай, братец. Можешь ты за полсотни латов этого господина на ту сторону доставить?

Мишка стыдливо засмеялся:

— Шутить изволите, господа хорошие...

Но капитан с напускной серьезностью сказал:

— На этот раз тебе препятствий чинить не будем... Что же? Переведешь?

— Шутить изволите! Пуцай сами идут — дорога свободная, речка не глубокая...

— Да ты брось дурачиться. Ведь поймали тебя раз на этом самом деле?.. Водил же?

— Это дело прошлое. С меня хватит. Больше не интересуюсь...

Мишка надел фуражку и снова полез в воду. Это был знаменитый на весь уезд контрабандист, специалист по переводу на советскую сторону. Была у него еще и другая профессия — он тайно служил в чека. Однажды его уже выслали из пятнадцативерстной полосы, потом вернули, и теперь он находится под наблюдением...

— Заедем к Федору Иванычу. Миллионер из крестьян.

Федор Иванович разбогател на товарообмене в голодные годы. В лютую зиму 1921 года из Пскова, из Острова, из всех советских городов, сел и деревень тянулись на границу крестьянские подводки со своим и чужим добром. Были здесь штуки

грубого домашнего полотна, исхудавший скот, иконы, винтовки — все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность. Были здесь вещи из разграбленных барских усадеб — старинная мебель, картины, статуи, золото и серебро... К вечеру мужики возвращались с пунктов сытые, пьяные, довольные, — они везли обратно муку, ржавые седелки, бутылки с водкой... В эту зиму много народу разжилось на чужом несчастье: каждый день от границы уходили составы с добром, вымененным за гроши на хлеб и масло.

— До чего тогда народ исстрадался, представить себе трудно, — рассказывал Федор Иваныч. — Я еще божескую цену давал, а другие так задаром товарообмен производили. Тот ему самовар тащит, а этот пять фунтов муки отвешивает. Не хочешь, вези самовар свой обратно... И сколько тогда этого самого сахарину в Россию пошло — вагонами отправляли!..

— А теперь как? Контрабандой занимаются?

— Теперь ничего подобного. Совсем граница закрыта. И подходить близко не стоит...

— А не боитесь жить близко от границы?

— Привыкли. А раньше ночами не спали. Вдруг нагрянут красные, разграбят да поубивают? А потом будут говорить, что бандиты приходили... В наших местах такое дело случилось. Было это в двадцать втором году. Деревню Пусто Воскресенье на том берегу знаете? Верстах в четырех отсюда. Так вот, деревня эта была беспокойная. То ли они комиссара раз убили, то ли еще что... Только как-то ночью красные деревню подожгли со всех сторон, никого не предупредивши. Мужики из окон прыгают, а те по ним стреляют. Чтоб, значит, никто не спасся. Так всех и перебили... А в той деревне у нас родственники были — у кого брат, у кого кум, у кого зять...

Часа два просидели у Федора Иваныча, слушая его рассказы.

— Знаете ли вы историю с картузом? — спросил меня на обратном пути Трофимов. — Нет?

Живет сейчас в деревне Пыталово малый лет пятнадцати. Шустрый паренек. Хочет стать контрабандистом.

Пока еще молод, но тренируется . . . В прошлом году малый решил купить к празднику новый картуз. Дело простое, но кто-то сказал ему, что в деревне Синий Никола картузы чуть ли не задаром дают. А надо вам знать, что Синий Никола — деревня советская, верстах в двадцати от границы. Малый уперся, твердо решил за картузом на ту сторону сходить. Раздобыл где-то червонец, зашил его в рубаху и ночью перешел через границу.

На следующую ночь возвращается в Пыталово. На голове картуз новый.

— Где купил?

— А в Синем Николе.

— Врешь! В Вышгород ходил или в Ритупе . . .

Вынимает из-за пазухи пачку советских газет и с торжеством кладет на стол.

— Откуда газеты? . .

— А из Синего Николы. Прихожу в деревню. Перво-наперво в лавку, картуз купил. А потом пошел по деревне. Вижу изба-читальня стоит открытая. Захожу. На столе газеты лежат, а избача нет. Туды-сюды, забрал газеты и ходу! . . К вечеру на границе был.

— Не боялся, что поймают?

— Нет, чего бояться?! Мы тутошние. Которые ночью переходят, тех подстрелить могут. А днем иди пряником, никто не окликнет. Раз только поймал меня советский, на самой, можно сказать, границе. «Ты откуда?» — спрашивает. «Из той деревни, товарищ!» Он и поверил. «Иди, говорит, да тут больше не шатайся, а то заарестую . . .» Отошел он малость, а я в кусты — и через границу . . .

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

С утренним петербургским поездом отправились в Ритупе, бывшее Жогово. Это последняя латвийская станция. Дальше начинается СССР.

Пассажиров в поезде было мало. Латыши все вышли в Пыталове; в «мягком» же советском вагоне осталось всего два человека: упитанный гражданин и дама в сиреневом свитере. Оба готовились к осмотру багажа таможенниками. Для легкости упитанный гражданин сбросил пиджак. Под пиджаком оказалась шелковая рубаха с крупной монограммой: гражданин, видимо, был из важных

пролетариев. Он неторопливо открыл чемодан светлой свиной кожи, а затем аккуратно и со вкусом принялся раскладывать по койке множество новых благоприобретенных за границей вещей: какие-то перламутровые зажималки, бритву «жиглет» в сияющем металлическом футляре, флаконы с духами и коробки пудры. Должно быть, это была контрабанда. Гражданин полюбовался еще раз своими покупками, просвистел под нос что-то веселенькое и стал рассовывать коробки и флаконы по разным карманам. Покончив с контрабандой, он снял с верхней полки корзину с провизией, закопченный эмалированный чайник и примус . . . Примус привел меня в умиление: человек в шелковой рубахе, должно быть, возил его по всей Европе, примус побывал в Париже и в Берлине, в первоклассных отелях, в пульмановских вагонах, в международных спальнях, с ним не расставались, его хранили как зеницу ока . . .

На станции Ритупе из вагона вышли решительно все, кроме гражданина в шелковой рубахе и его спутницы.

После завтрака мы выехали на границу. Проехали с четверть версты по проселочной дороге, свернули в сторону и попали на берег речонки Утроя. Рассказывали о ней такую легенду:

— Граница проходит по двум рекам: Лжа и Утроя. Поспорили раз эти реки: которая скорее до моря добежит? Условились выходить утром. Одна сдержала слово, утром побежала, а другая с ночи отправилась в дорогу. И вышло так, что выбежавшая ночью потерялась в песках и болотах. За обман этот зовут ее с тех пор Лжа. А реку-победительницу называют «Утро-я» . . . Правда, несложно?

На советском берегу урожай был уже снят, овес стоял в пятаках.

— Здесь, вдоль границы, они стараются не ударить лицом в грязь. А отойдите немного подальше, увидите, что поля стоят заброшенные, деревни полуразрушенные. Дело в том, что в прошлом году весь этот край с советской и латвийской стороны постиг неурожай. Латвийское правительство выдало своим крестьянам семена, а советское ничего для своих не сделало . . . На посев у большевиков получили только хозяйства

вдоль границы. Остальные были предоставлены самим себе. Крестьяне, конечно, побросали хозяйства и ушли в города, на заработки.

У будки № 202 мы пересекли полотно железной дороги. Справа — первая советская станция, Брянчаниново. В трех шагах от нас советская территория. На высоком шесте набита железная красная звезда, а на ней — серп и молот. Тут же рядом топографическая вышка. Два устоя ее упираются на латвийскую территорию, два других находятся на советской земле. Съемки давно кончились, и на вышку эту подниматься строго запрещается. Впрочем, большевики однажды запрет нарушили. Произошло это при довольно странных обстоятельствах.

Время от времени в советском Острове или латвийском Пыталове происходят совещания представителей пограничной стражи. На одно из этих совещаний приехал в Пыталов председатель ГПУ Острова — Ильин. Явился вопреки международным правилам при револьвере. Вошел к капитану Янсону, не сняв фуражки. К чаю и к завтраку не прикоснулся — должно быть, боялся, что отравят.

Вопросы, подлежащие обсуждению, были важные. Совещание затянулось. Около шести часов вечера с поста доносят, что на топографическую вышку взобралось несколько человек. Смотрят в бинокли в сторону Пыталова.

Оказывается, встревоженные продолжительным отсутствием начальника, чекисты подняли тревогу. Из Пскова на подмогу примчалось шесть автомобилей — выручать Ильина. Устроили наблюдение за станцией: куда отправят председателя ГПУ? Председателя отправили на советскую границу.

Отличные цейсы у пограничной стражи: видимость 20 километров. Вот я мысленно перехожу границу, спускаюсь с холма и иду по пыльной ухабистой русской дороге. Покос кончился; поля стоят обнаженные, мужики заняты уборкой скирд. Всюду куда хватает глаз — красные, белые, синие рубахи, раздуваемые ветром. Лохматый рыжий конек выбивается из сил — тянет в гору воз с сеном. Вдали белая церковь села Дубки. Я знаю, что следующее село — Елино,

а за ним, у самого леса, — Опанькино. Всего в полуверсте от меня советский сторожевой пост, но если на минуту забыть об этом, останется Россия: речка Лжа, деревушка в овраге, белая колокольня и рыжий лохматый конек . . .

Впрочем, забыть о сторожевом пункте не удастся. На крылечке появляется пограничник. Поглядел в нашу сторону и скрылся в доме. Через минуту во дворе уже шесть советских пограничников. Один вытащил бинокль и смотрит на нас не отрываясь. Должно быть, наша группа его заинтересовала. Начальника района он отлично знает, помощника тоже, часовые с винтовками не возбуждают любопытства, но кто — двое штатских? Долго, вероятно, ломали они над этим голову . . .

— Видите церковь? — спросил меня сопровождавший пограничник. — Это в селе Дубки. Раз в три недели священнику там разрешают служить. А все остальное время он работает в поле, как батрак. Земли ему не дали. Как закончат к обедне, так сейчас весь комсомол Дубков собирается и шествует мимо церкви с пением и музыкой. Мы все это с нашей стороны отлично видим и слышим. Приходят они на двор пограничного пункта. Тут сейчас танцы устраивают, радио слушают или митингуют. Старшие в церковь идут, а молодняк на двор к пограничникам — танцы соблазняют . . . Вообще молодняк в пограничных деревнях — сплошь комсомольский. Они имеют оружие, им дано право арестовывать подозрительных. Комсомольцы даже премию получают за арест человека, нелегально перешедшего границу.

Мы спустились с холма и пошли низом вдоль узкой канавки, отделяющей Россию от Латвии. Канавка эта прорыта вдоль всей сухопутной границы, она совсем неглубокая — пол-аршина.

— Перешагните, и вы — в России . . .

Должно быть, спутник мой чувствовал, что я хочу перейти запретную черту и взять немного родной земли . . . Это очень тяжелое чувство: Россия здесь, рядом, но доступ к ней закрыт. Всего один шаг, но как трудно его сделать!

Мы остановились у хутора «Рощи-

цы». Место пустынное, все вокруг спокойно. Ни души.

— Я перехожу.

В это же самое мгновение шедший за нами часовой дал резкий, тревожный свисток. Один, другой . . .

— Назад! Не двигайтесь!

В кустарнике, в двадцати шагах от нас, появился советский пограничник. Остановился как вкопанный.

— Назад! Иначе он будет стрелять!

Мы стоим с одной стороны канавы; человек с красной звездой на фуражке — с другой. Стоим молча, всматриваемся друг в друга. Проходит томительная минута. Пограничник вдруг делает кругом-марш и исчезает в кустах. Должно быть, залег в своей наблюдательной яме . . . Ждать теперь бесполезно; он, если нужно, пролезит в кустах до самого вечера.

Чтобы сбить с толку наблюдателя, заходим на хутор. Мужики где-то в поле. Дом сторожит глухая старуха и босоногий мальчонка в заплятанном полушубке.

Быстро знакомимся:

— Тебя как зовут?

— Толька.

— В школу ходишь?

Толька явно недоумевает:

— Цо?

— В школу учиться ходишь с ребятами?

— Не.

— А на той стороне бывал?

— Не . . . Там красные. Там шпикулянта убили.

— Какого спекулянта?

— Не знаю. Тятка сказывал. Красные убили ночью. У них и остальные лежать . . .

Тольке всего четыре года. Про школу он никогда не слышал, но о «шпикулянте» и о том, что «красные рубают», он умеет рассказать. Пограничное воспитание.

— Ну как он?

— Лежит, не двигается!

Махнули рукой и пошли обратно к топографической вышке. Может быть, там никого не будет. Отошли с версту. Снова как на ладони виден советский пост, но до него довольно далеко. Эти не помогают.

Прыгаю через канавку. Каблуки глубоко уходят в мягкую желтоватую глину.

Восемь лет я не был в России. Теперь снова стою на родной земле. Немного кружится голова. Прият-

но . . . Отохожу в сторону, делаю несколько шагов по полю. С латвийской стороны кричат:

— Торопитесь . . . Нагрянет пограничник — плохо будет!

В кармане у меня припасена буmajная торба. Всыпаю в нее пригоршни жирной, мягкой земли. Потом оглядываюсь: вдоль дороги растет милая белая кашка, какие-то стебли травы . . . А рядом — лен. Нагибаюсь к сладко пахнущей земле, набираю большой букет простых полевых цветов . . .

Надо возвращаться. Вторично перехожу границу. Десять шагов, и я снова в Латвии . . .

Мы идем вдоль узкой канавки, отделяющей Латвию от России. На советской стороне три бабы собирают лен. Стоят близко, у самой дороги.

— Здравствуйте, Бог на помощь! . .

Как по команде, бабы поворачиваются к нам спинами.

Немного дальше мужик пашет, готовит землю под озимые. Увидев людей «оттуда», уходит подальше в поле.

Через пять минут два пастушонка бросают коров на берегу Утрои и стремглав бегут в деревню. Всюду наше появление вызывает поспешное бегство. В чем дело?

— Страх. Людям с «той» стороны запрещается не только разговаривать с латышами, но даже смотреть на латышскую сторону. Горе тому, кто подойдет к границе и заговорит с людьми из-за кордона!

Это может показаться невероятным, но на латвийской стороне есть коммунистические деревни.

— Как могло это случиться? Люди живут у ворот «коммунистического рая». Достаточно подойти к границе и сравнить. На латвийской стороне крестьянин сыт и обут. Правительство отпускает ему лес на починку избы, в неурожайный год — семена. Хлеб и лен он продает по сравнительно высоким ценам. Русские крестьяне из Латгалии почти все в сапогах. На советской стороне крестьяне в лаптях или босиком. Это мелочь, но крестьянин ее замечает и делает из нее выводы. Крестьянам с латвийской стороны отлично известно, как живется их кумовьям, сыновьям и невесткам, оказавшимся по ту сто-

рону границы. Не сгладились в памяти и голодные годы, когда мужики толпами переходили границу, моля о хлебе. Помнят о прошлом годе неурожая; весной советский крестьянин резал скотину, а крестьянин латвийский получал в это время правительственную и общественную поддержку. Отлично знают об арестах, расстрелах, выселениях. Знают, но...

— Мы, барин, не красные, — говорили мне мужики одной из «коммунистических» деревень на латвийской стороне. — И спаси Господи, не коммунисты! Это нам не подходит никак. А мы — русские. Опять же — податься некуда.

В этом «податься некуда» кроется разгадка занимавшего меня вопроса. Русские крестьяне в Латвии живут бесконечно лучше крестьян советских, но все же положение их не особенно завидное. Земли мало (мешают болота) и родит она неважно — слишком много влаги. В этих краях, в бывшей Псковщине, крестьянин издавна привык уходить зимой на охотий промысел. Все дороги были ему открыты: Псков, Новгород, Москва, Петербург. Проработав зиму в городе, возвращались к весне в деревню с сотней рублей в кармане. Теперь времена изменились. В Латвии безработица, и мужикам «податься некуда». Отсюда мысль:

— Это правда, что на той стороне худо. Но не может этого быть, чтобы повсюду было одинаково. Должны быть и в России места, где крестьянство живет ладно. А нет — все равно страна большая, всегда работа найдется...

Так рождается своеобразный «коммунизм».

Большевики знают об этих настроениях части латгальского крестьянства и стараются использовать их. Но как?

Рано утром латвийский пограничник находит в кустах мешок с «литературой» и сдает находку по начальству. Должно быть, агент с латвийской стороны не явился ночью на условленное место; может быть, ему просто помешали.

Капитан Янсон вскрывает мешок и начинает хохотать. Вот полный перечень агитационных брошюр:

«Мистер Троцкий на службе у буржуазии» Ярославского.

«Путь Троцкого».

«Германское профдвижение».

«Против правых примиренцев в германской компартии».

Эти брошюры о правых примиренцах предназначались для полуграмотных латгальских крестьян! Можно ли придумать лучше!

Самое доходное занятие на границе — это шпионаж и перевод на ту сторону. Для многих эта работа сделалась главным источником существования. Загулял мужик, появились у него лишние деньги — значит, дело нечисто: побывал в гостях у красных. Шпионов и переводчиков через кордон начальство знает отлично, но, чтобы уличить их, нужно поймать с поличным. А сделать это трудно.

Идет по деревне мужик в новых сапогах. Спутник мой сообщает его «послужной список»:

— До прошлого года занимался шпионажем. Потом струсил — слишком рискованно стало, да и в тюрьму идти не хотелось. Теперь — мирный контрабандист и «переводчик». Только я ему не доверился бы... Пожалуй, сдает в руки чекистов!

Поравнялись с бывшим шпионом.

— Здорово, Василий Иванович!

— Здравствуйте, Николай Павлович!

— Ну, как дела?

— Да ничего... Не жалуемся. Кое-как кормимся.

Хитро подмигнул и пошел дальше, с сознанием собственного достоинства.

В чайной к нашему столику подсаживается здоровенный мужик. Поговорили о том, о сем... Потом огляделся по сторонам, налег грудью на стол и зашептал:

— Вчерась Степка на ту сторону пошел. Вышел он рано... Да... Часов в десять вышел, торопился. А к утру не вернулся. С чего это может быть? Не слышали чего на границе? Беспорядков никаких не было замечено?

— Нет, должно быть, сегодня ночью вернется.

— Так надо полагать. Может, часовые мешали. Так он в хлебах отлежится, а этой ночью перейдет границу. За сто латов ушел... А только мамаша беспокоится. Да. В прошлом месяце двое наших пыталовских пошли туда за пятьдесят латов, а об-

ратно не вернулись. И так нам неизвестно, что с ними стало: убили их или в Сибирь сослали... Ежели при самом переходе накрыли — тут, должно быть, и прикончили. А коли подальше от границы, мужики поймали, тогда, значит, Сибирь будет...

Тут я узнал тариф «переводчиков». Берут разное, в зависимости от того, кого переводят, в каком участке и куда надо доставить человека. За простой перевод до большой дороги берут 100. Довести до Пскова и сдать в город на попечение верных людей стоит значительно дороже — несколько тысяч. Вопреки довольно распространенному мнению, шпионаж оплачивается гораздо хуже переводов через границу, риска значительно больше. 20—30, максимум 50 латов — это все, что платят большевики агентам из мужиков. За эти гроши люди рискуют своей головой и, в лучшем случае, продолжительным заключением в крепости. А пойманный «переводчик» отделяется тюрьмой и высылкой из пограничной зоны.

Много людей переходят оттуда границу. Все они умоляют, чтобы их оставили в Латвии. Только один пожелал вернуться в СССР.

Это тринадцатилетний беспризорник Васька Александров, невольно побывавший за границей и этапным порядком вернувшийся в социалистическое отечество.

Летом, во время великого передвижения беспризорных по всей России, Васька решил выехать куда-нибудь из Москвы. Куда ехать — было ему в высокой степени безразлично. На московском вокзале он забрался в первый попавшийся вагон, забился под скамейку и сейчас же заснул. Проспал мирно всю ночь, незаметно проехал через границу и проснулся лишь утром от мучившего голода. Поезд стоял на большой станции.

Васька решил временно прервать свой вояж и отправился в город настрелять чего-нибудь съестного. Выбрался со станции и пошел по главной улице, внимательно приглядываясь, нельзя ли чего-нибудь стаянуть.

Босой мальчуган в необыкновенных лохмотьях, с любопытством заглядывающий в освещенные окна мага-

зинов, быстро обратил на себя внимание. Постовой задержал его.

- Ты где живешь?
- Нигде, дяденька.
- Откуда приехал?
- Из Москвы!

В участке Вася Александров рассказал историю своей бурной тринадцатилетней жизни. Родителей он потерял в восемнадцатом году. Прожил некоторое время в Казани, оттуда перебрался в Тверь, потом в Москву. Жил, как все беспризорные, путешествовал из города в город, питался подаваемым и воровством, ночевал в заброшенных домах, в чужих садах, на вокзалах, под открытым небом.

Был он вшивый, грязный. Мальчику дали булку с маслом. Он ел с наслаждением и рассказывал о своих впечатлениях.

— А я и не знал, что поезд заграничный. Думал, в Крым идет или еще куда. А может, в Харьков. Очень мне хотелось в Харьков поехать, да только не смел ни у кого спросить. В поезде, слышал, про Двинск говорили, а я не знал, где это. Вышел из вокзала — смотрю, что-то не так. В магазинах продукты разные, а хвостов нема. Разные граждане заходят и за свои деньги покупают. Потом — мильтоны не нашему одеты. Васька, сказал я себе, держи ухо остро, Васька, здесь мильтоны другие! И действительно, один из мильтонов взял меня за шиворот и стал расспрашивать на непонятном языке, а потом по-русски.

Редактор местной газеты «Двинский голос» Н. К. Савков выслушал этот рассказ и предложил мальчугану:

— Хочешь здесь остаться? Только брат, надо будет помыться, привести себя в порядок, да и воровство бросить. В школу будешь ходить.

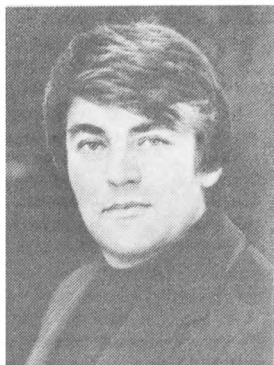
— Извиняюсь, гражданин, — вежливо ответил Вася Александров, — мы эту школу знаем. В исправдом отдать хотите? Только я оттуда убегу, это нам ничего не стоит. Как я есть беспризорный московского третьего участка, то мне желательно ехать обратно в Москву.

Долго убеждали Васю Александрова. Потом махнули рукой, дали на дорогу еще одну булку с маслом и отправили на родину.

Русский поэт Леонид ЧЕРЕВИЧНИК родился в 1937 г. на Украине. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. С 1964 г. живет в Риге.

Издal книги стихов: «Микрофантазия» (1966), «Песочные города» (1971), «Зеркальная колыбель» (1977), «Март» (1981), «Круг» (1987).

Переводил стихи украинских поэтов первой половины XX в. — О. Маковея, А. Олеся, В. Свидзинского, М. Драй-Хмары, Н. Зерова, П. Филиповича и др.; произведения современных латышских поэтов и латышских поэтов конца XIX в., первой половины XX в. — Я. Порука, Я. Райниса, В. Плудониса, К. Скалбе, Ф. Барды и др.; среди книг переводов: А. Курций «Беды солища» (1974), П. Розитис «Желудевое ожерелье» (1978), Э. Вейденбаум «Стихотворения» (1980), Р. Блауманис «Стихотворения» (1984), «Пути огня. Из латышской классической поэзии» (1986).



ИЗ УКРАИНСКОЙ АНТОЛОГИИ

ВЛАДИМИР СВИДЗИНСКИЙ
(1885—1941)

• • •

И долго я искал живую воду,
Пока мне верба дуплистая не сказала:
«Живой воды нет на земле;
А сможешь дойти — спроси у солнца.
И я нашел нехоженые дороги,
Пересек горы с вершинами голубыми
И вышел в долину, где из каждой скалы,
Из каждого камня свет лился журчащий.
Там юные радуги играли,
Соединяя поясом семицветным
Свои вознесенные руки.
Поодаль лежал косматый гром,
Похожий на выкорчеванный из земли пень,
Отважные грозы, наклоняясь, как жнецы,
Связывали свяслами пучки молний.
Из-за дерева выбежал веселый дождь,
Обрызгал меня из золотой лейки.
Пушистый, как россомаха, лежал снег,
Лениво вытянув пухлые лапы,
Я прошел недалеко — он и ухом не повел.
На проталине в саду я увидел солнце.
В одежде синее спелой ежевики
Солнце отдыхало на белом камне
Среди нежной заросли сон-травы.
Я робко сказал: «Солнце, солнце!
Дай мне живой воды —
Моя подруга стала землею

И как ее оживить — я не знаю». Солнце подумало и ответило печально: «Живой воды нет на земле, И нет ее во всей вселенной. Я само посылало своих детей За живой водой в темные бездны, Они разошлись, и никто не вернулся, Лишь гробы их светятся во мраке. Да и я уже далеко не в расцвете, И мне недолго сиять осталось, Теперь желтею, потом покраснею И умру, и тихо станет в мире. Возвращайся домой, не ищи напрасно, Свою милую подругу оживить не надейся». Солнце умолкло — и всё приуныло: Опустили головы отважные грозы, Дождь уронил золотую лейку, Снег вздохнул и глаза зажмурил, А несмысленные радуги сбились на поляне, Словно стая всполошённых голубок.

* * *

Что странного, что улица пуста,
Что молодость там песен не заводит?
Окно мое покрылось слоем льда
И, скованна, молчит в ручьях вода,
И в поле, всё сминая, холод ходит.

И я звезду свою сквозь мрак туманный
На небе отыскать уже не смог,
Словно и там был ветер ураганный
И повалил сверкавший теремок.

СТАСЯ

Мы сели на лавку у дороги.
Было тихо. Бурьян несматый
Под росой холодел сиротливо,
Печальный ручей ворковал и курлыкал
Между щавелем и лопухами.
Запад светом дышал глубоко.

Стася сказала: «Те усталые тучи —
Как поле, изрезанное плугами.
А та, рядом с ними, — куст полыни».
— «Какая?» — «Вон та, что над чернокленом
клубится,

Бронзой меченная по кромке».
Я взглянул: в копане сонной
Резные, запертые в мертвоводье,
Светились тучи, небо, пригорок,
Два мира, две тишины предвечерья,
Две неизмеримые бездны.

Несколько минут прошли в молчанье,
Лишь каштаны в колушках колючих
Падали порой на дорогу.
«Ты знаешь, — прервала молчанье Стася,
Иногда мне кажется, что где-то далёко,

За громадами диких гор непокорных,
Никому неведомая степь распростёрлась.
И там так тихо, так свято тихо,
Как нигде на земле. И не может
Туда ни тьма, ни день подступиться.
Лишь заря горизонт увищает
На всём обвое малиновым светом
И звучит потаенно . . . Для кого — неизвестно».

Стася умолкла. Ручья воркованье
Вливалось стройно в безмолвие ночи.
Запад светом дышал глубоко.
Тогда я сказал: «Заря прекрасна,
Только она, багряным свитком
День свернув, далеко уносит
И прячет его в погребальне мира.
Взгляни на восток, — там мгла нависла,
Первый зародыш злобной ночи
Грязно сереет, как мыльная пена,
Тай в себе страх и морок».

Ничего не ответила Стася,
Лишь теснее ко мне прижала
Плечо в темно-синей жакетке,
Отороченной серым мехом.
Какая-то сверкающая пушинка
Зацепилась одним отростком
За Стасин ворот, остановилась.
Заря начала постепенно таять.

Несколько минут прошли в молчанье.
Небо пустело. Вдруг над нами
Протянулся натужно шум тяжелый.
Глянули мы: длинным загоном
Воронье с полевых кочевий
Возвращалось на ночь в город —
С готтней обседать всполошенной
Сады на скалах. «Осень! — сказал я. —
Наша семнадцатая осень». —
«И вправду осень, — ответила Стася. —
Ты заметил? Уже ночами
Сквозь редющую листву берез на скалах
Видны зарницы».

С этими словами
Стася умолкла. Заря убывала,
Над древним городом, в пыли, в тумане,
Кружил блуждающий сонный клекот,
Как печальный прибой смерканья.

Голос Стаси чудно преобразился.
«Когда я уеду, а ты захочешь
Прийти сюда, с кем придешь ты?»
Мне что-то больно стиснуло сердце.
«Один приду», — я ответил.
«Тише, тише, — сказала шепотом Стася, —
Как же здесь голос слышен далёко!»
И склонилась, и красотою
Покрыло облик ее раздумье.

Вдруг рука ее встрепенулась.
«Что там, гляди!» — вскрикнула Стася.

Я посмотрел: на ближней ели,
Низко-низко, над самой землею
Сидела белка, оборотила
Острую мордочку и на нас глядела.
Мы не шевелились, затаив дыханье.
Белка скрылась в темной хвое.
«Зачем ты едешь?» — спросил я Стасю.
Она подняла на меня медленно
Глаза задумчивые и сказала:
«Сюда я уже не вернусь, наверно».
Что я мог на это ответить? . .
Вновь что-то больно кольнуло в сердце.
Заря между тем покинула небо,
Мышиный сумрак вползал в долину.
Тьма приближалась, день кончался;
Свет опадал мертвой соломой,
Черные башни ночь возводила.

Несколько минут прошли в молчанье,
Я поглядел: по правую руку
За рядом тополей могучих
Над далёким устьем долины
Что-то расцветало, всплывая.
Неожиданно Стася прошептала:
«Ты не приходи без меня в это место. —
Что я мог ей сказать на это? . .
Снова больно стиснуло сердце. —
Не будешь приходить?» — «Нет», — я ответил.
Сквозь проем в листве тополиной
Месяца лицо засверкало
И в изгибах ручья отразилось.
«Ты меня любишь?» — спросила Стася.
«Люблю», — сказал я, выдохнув глухо.
«Я тебя тоже, — промолвила Стася, —
Только больше ничего говорить не будем».

Так потом тополя засияли,
Словно кто опилками золотыми
Каждый их обсыпал листочек.
Ночь стекленела . . .

Замер ветер.

Где-то дико кричали совы.

.

Тихо на озере плавают гуси,
Тише — зерно растет, еще тише
Двигается время. Как заросль терна,
Дни и ночи несчетные встали
Между детством моим и мною,
Не может долететь оттуда ни ветер,
Ни запах благоуханный,
Ни голос не дойдет любимый.
Но там, где он умолкнул навеки,
Там — долины, леса . . . Там вольно
Утренние и вечерние играют зори,
То огненным потоком взор наполняют,
То назад отступают, сгорая,
И вновь прибывают и угасают,
Заслоняясь чем-то поблекшим,
Подобным листве увядшей,
И звучат потаенно . . .

Для кого — неизвестно.

* * *

Умрут земля и облака,
Умолкнут голоса природы,
И, набежав издалика,
Уж не плеснут о берег воды.

Всё, что растёт, сияет, пахнет, —
Безжалостный покроет лёд,
И злоба без людей зачахнет,
И без добычи смерть умрет.

Но не хотелось бы расстаться
С моей последнею мечтой,
Что сможешь на земле остаться
Хоть ты, о ветер мой степной!

Не стихнет гул твоих рыданий.
В крошечной тьме, среди руин,
Как отзвук давних состязаний,
Ты будешь повторять один

Слова поэтов прозорливых,
Извечных пленников земных,
Моления песен их тоскливых,
Их стоны и проклятья их.

МИХАИЛ ДРАЙ-ХМАРА **{1889—1939}**

* * *

Под весенней синевой
осушает март поля,
и поет передо мною
обновленная земля.

Грозный шквал волной огромной
потопил людей, зверят, —
но из недр пучины темной
вышел новый Арарат.

Звездный час земли настанет:
хижинам убогим — мир!
Вас никто уже не станет
брать в невольничий ясыр!

Неба облачные кубки . . .
Встал ковчег посреди гор,
и, как Ной, я жду голубки,
чтобы выйти на простор!

* * *

Я полюбил тебя на пятой
весне голодной: всю — до дна.
Благословил и путь проклятый,
залитый пурпуром вина.

Орлицею ты в бой летела,
добра была ты, а не зла.
Я видел кровь на юном теле
и рану посреди чела . . .

И вновь Голгофы холм вздымался,
где были лишь поля одни,
и снова враг не унимался,
кричал: распни ее, распни!

И мы, отдавав этой муки
из чаши горестных утрат,
соединили молча руки
и были как сестра и брат.

* * *

Я мир воспринимаю глазом,
я цвет и линию люблю, —
лучей златые рала разом
врезались в пахоту мою.

Мне нравится игра созвучий
тех слов, чья суть, как мед, тяжка,
слов, пролежавших в тьме дремучей
глухие долгие века.

Эпитетам остаться там бы! —
нет — прут, руссудок потеряв,
и лишь анапесты да ямбы
кой-как блюдут еще устав.

Осеннее мое унынье —
рубина рдяное зерно
в оправе золотой; донныне
еще не выпало оно.

Смотри, как в голубых просторах
поют потоки бытия,
и верится, что скоро-скоро
вот так же запою и я.

ИЗ ПОЭМЫ «ПОВОРОТ»

1

Верить, не верить —
мучаюсь я!
Цвет бирюзовый,
ты — не моя!

Пальцами впился
в космы небес —
духом воспрянул,
думал: воскрес!

Глянул — там бездна,
трупы кругом,
ворон безглазый
плещет крылом.

Дух обессилел,
и среди скал
я бездыханным
трупом упал.

2

На лиловых темных скалах
гор — окаменевших волн —
я лежал в крови, как в лалах,
как разбитый бурей челн.

Неба пестрые павлины
опустились на гранит,
и, дымящийся, в долины
огненный поток бежит . . .

Не звучал пустыни голос,
птичий щебет не звенел,
только смерти черный полоз
молча мне в глаза глядел.

3

Крылья тоски — на восход,
сердце дорогу ищет
и иступленно ведет
в край мой, убогий и нищий.

Скоро заплещутся плёсы,
солнце поднимет дугу,
путь расцветит перекрестный
поросли трав на лугу.

Ходом всемирным идите
через поля и моря:
на золотистой трембите
песню играет заря.

ПАВЕЛ ФИЛИПОВИЧ {1891—1937}

* * *

Дрожали тени, надвигался вечер,
Я проезжал сквозь села и поля.
Гони, пастух, стада свои овечьи, —
Огню кумирен неподвластен я.

Где радость песен и шаги любимой?
Иным виденьем дух мой обуян:
В сверкающей дали необозримой
Уже вздымался сизый океан.

И спала скорбь, как тяжкая кирёя,
Когда я вдруг остановил коня.
Не ворон там слетал на Прометея, —
Ночь черная терзала сердце дня.

Он лежал и смотрел и снова
Среди тихих трав замирал.
Истерял золотую подкову
И у края земли упал.

И как призрачные виденья,
Поднимались туманы там,
Где простерли ночные тени
Свой убогий дар небесам.

Кто-то с желтым сумрачным взором
Кликал ветер и сеял страх,
И на черном коне Ленору
Мчал сквозь сумрак ночной в степях.

А земля ничего не чувствует . . .
Ты не спи, госпожа земля, —
Крикнет петел, огонь раздует
И твои подожжет поля!

* * *

День белый утомился и притих.
Из синих бездн, предавшихся покою,
Проходит солнце медленной стопою
К глухим распустьям вечеров степных.

На краткий миг остановясь у них,
Оно сияет поздней красотою,
Как будто бы уводит за собою
Виденья грёз кроваво-золотых.

И нет уж дня. Но лучезарно-нежный
На небо и на весь простор безбрежный
Пролился свет, встав на пути у тьмы.

И вот уже печальный месяц ходит —
Узоры темно-синие выводит
На ризах ослепительных зимы.

ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ТРОЦКИЙ...

КТО ПЕРВЫМ ПОДНЯЛ МЕЧ?

Я напоминаю о всех этих фактах не для того, чтобы осудить или заклеить несчастных людей, озлобленных войной, всем их прежним существованием, развращенных тем, что «над ними, победителями, суда не может быть». Даже Максим Горький, не побоявшийся назвать вещи своими именами, осудить преступления красных матросов, говорил об этих людях как о духовных жертвах царизма.

Я напоминаю об ужасах и трагедиях нашей революции, чтобы мы не теряли голову, чтобы имели мало-мальское представление о душах и выборе тех представителей «старой гвардии», которых стремимся духовно возвысить, противопоставить убийце и провокатору Сталину. Конечно, лица интеллигентов-коммунистов, соратников Ленина, которые так часто мелькают сегодня на экранах телевизоров, выгодно отличаются от штампованных, не обремененных мыслью круглых физиономий представителей сталинской гвардии. Чисто внешне Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин современному человеку более симпатичны, чем Ворошилов, Буденный, Жданов. Но внешний облик, язык и европейские манеры Троцкого или Зиновьева и даже Луначарского сами по себе ничего не говорят об их духовном, а тем более нравственном развитии.

Ни к чему оспаривать право Ле-

нина, большевиков бороться за власть. Революционная марксистская партия по своей сути, по мировоззрению своему должна была стремиться к захвату власти в России, к диктатуре пролетариата. И если она победила, если все в конечном счете обернулось катастрофой длительного, продолжавшегося более тридцати пяти лет самогеноцида, то в этом прежде всего вина правящих классов царской России, у которых не хватило ни ума, ни политической воли, чтобы удерживать страну на рельсах общего цивилизованного развития. Поэтому нет ничего случайного в том, что в России нашлись люди, которые очутились в плену иллюзий и попытались отбросить страну на обочину цивилизации, в душе полагая, что ищут новый исторический путь. Это наша трагедия, наша судьба. Никто не застрахован от срыва в хаос. С кем-то это должно было произойти. Иначе, наверное, человечество не могло бы определить границу между истиной и ложью, добром и злом. Но не надо лукавить и называть людей, не способных отличить истину от лжи, людей, ищущих простых решений, связавших себя с иллюзией, мало того, навязавших силой эту утопию миллионам своих соотечественников, просветленными, духовно развитыми людьми.

Можно служить идеалу, но можно — идолам. Можно победить, прибегая к демагогической упрощенности, а можно — к истине, как бы она ни была сложна. В конце концов речь не об этих людях. Их нет. Они насладились и своей победой, и — многие — своим поражением. Речь идет

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 7.

о тех, кто живет сегодня и кто будет жить завтра. Если мы в самом деле хотим стать цивилизованным обществом, то должны для себя, для молодежи выяснить, чем отличается идол от идеала, что такое нравственный человек в точном смысле слова, чем отличается интеллигент, ищущий бури, подвижник идеи революционного, насильственного изменения мира, от подлинного интеллигента; мы должны научиться распознавать бесов в личине пророков, периодически сталкивающих страну в хаос. Их, этих бесов-пророков, бесов-прорицателей грядущих катастроф, и сейчас в стране предостаточно. Надо, в конце концов, внушить новым поколениям интеллигенции, что не всякая красивая теория истинна, что люди несут ответственность за те идеи, которые они выдвигают, пропагандируют.

Подвижник ложной идеи, несущей хаос и разрушение, смерть и преступление, является невольным преступником или соучастником преступления.

Я лично не вижу никаких различий между теоретиком, который создает науку об уничтожении, о так называемом «преодолении» буржуазных классов, и политиком, который занимается воплощением в жизнь этой «прогрессивной» теории. Позиция теоретика, зовущего к насильственному переустройству мира, к экспроприации экспроприаторов, к насилию, к террору, с моей точки зрения столь же уязвима в нравственном отношении, как и позиция революционера-практика. Да, бывают ситуации, когда революция является локомотивом истории. Но это когда подавляющее большинство борется против меньшинства с целью свержения конкретных виновников зла, чтобы дать простор, свободу тому, что уже есть, что утвердилось в жизни. Но ведь в той теории революции, которая воплощалась в России и которой служили верой и правдой наши герои, речь шла о другом. Она изначально, по замыслу была революцией подавляющего мелкобуржуазного большинства России, была направлена против народа России, против существовавшей тогда русской цивилизации и культуры быта. Не случайно, по словам Ленина, и до революции и после большевики были каплей в море народной России. Ленин гово-

рил о том, чтобы «протащить» социализм в Россию, свернуть ее с той дороги, какой она шла в тот момент. Замах был вселенский, но, по сути, сатанинский. Я иногда задумываюсь — если в нашей стране, где памятников культуры было сравнительно мало, революция пролетариата сопроваждалась в этой области неслыханными потерями, то сколько же разрушений она должна была принести Швейцарии? По-моему, только утративший разум, невменяемый революционер мог желать победы диктатуры пролетариата, скажем, в Швейцарии.

Я не могу назвать, к примеру, нравственным, духовно развитым человеком Л. Д. Троцкого, который своими пламенными речами на митингах разжигал страсти, толкал ожесточившихся матросов к насилию. Не мог он не понимать, к чему ведет в России диктатура пролетариата, кому он ввергает жизнь миллионов людей, не имеющих никакого отношения к политике. Я не могу назвать нравственной, духовно развитой всю ленинскую гвардию, которая сделала страну, генофонд, жизненные силы России игрушкой в руках людей, охмелевших от запаха крови, от расправ. Я не могу назвать нравственным человеком известного чекиста М. Лациса, который призывал к поголовному истреблению всех лиц непролетарского происхождения. Для меня они или больные, безумцы, или преступники.

Андрей Платонов не измыслил всех своих героев, постоянно думающих о том, как бы еще кого-нибудь убить, всех этих Пиюсь, Жачевых, Софроновых, стремящихся растворить ненавистную им мелкобуржуазную Россию в ванне из серной кислоты, убежденных, что, кроме пролетариата, никто не имеет никаких оснований на жизнь. Они списаны с жизни, они самые типичные представители новой власти. Ими, этими новыми хозяевами жизни, двигали самые страшные человеческие инстинкты — злоба, зависть, ненависть к таланту, к личности. Об уничтожении всей мелкобуржуазной сволочи мечтает матрос, герой дневников М. Пришвина. Ф. И. Шаляпин в своих воспоминаниях живо рисует героев революционной непримиримости: «Ни у какого человека не должно быть никаких

преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство», — настаивает один из руководителей революционного Петрограда эстонский коммунист Рахья¹ (у Шалапина — Рахия).

Ленинская гвардия, подвижники революционной идеи и идеалов социализма, как их величают И. Клямкин, О. Лацис, В. Логинов и многие, многие другие, не просто сделали Россию, миллионы людей заложниками матроса с маузером, а сломали духовную жизнь России, внесли в нее, в отношения между людьми фальшь, демагогию, страх, недоверие. Причем это произошло не при Сталине, не в тридцатые, в разгар его репрессий, а спустя несколько месяцев после революции. Октябрь не возродил, а медленно высасывал все нормальные, человеческие чувства между людьми. И в этом случае свидетельство Ф. И. Шалапина очень важно.

Страх, как он вспоминает, вселился в его душу, и во всех других сразу. Боялись, как он пишет, даже те, кто не имел прегрешений против новой власти и не имел оснований бояться репрессий. «Меня, — пишет он, — пугало отсутствие той сердечности и тех простых человеческих чувств в бытовых отношениях, к которым я привык с юности. Бывало, встречаешься с людьми, поговоришь по душе. У тебя горе — они вздохнут вместе с тобою; горе у них — почувствуешь им. В том бедламе, в котором я жил, я начал замечать полное отсутствие сердца. Жизнь с каждым днем становилась все официальнее, суше, бездушнее».

Примерно в это же время, в конце 1917 года, начинает тревожиться о том разладе русской души, который стал, по его мнению, усугубляться после прихода новой власти, В. Г. Короленко.

Вот запись в его дневнике от 5 (18) декабря 1917 года: «Наша психология — психология всех русских людей — это организм без костяка, мягкотель и неустойчивый. Русский народ якобы религиозен. Но теперь религии нигде не чувствуется. Ничто «не грех». Это в народе. То же и в интеллигенции . . . Успех все. В сторону успеха мы шарахаемся, как стадо . . . Это и есть страшное: у нас нет веры,

устойчивой, крепкой, светящей свыше временных неудач и успехов. Для нас «нет греха» в участии в любой преуспевающей в данное время лжи . . . И оттого наша интеллигенция, вместо того чтобы мужественно и до конца сказать правду «Владыке народа» (речь идет о Ленине. — А. Ц.), когда он явно заблуждается и дает себя увлечь на путь лжи и бесчестия, — прикрывает отступление сравнениями и софизмами и изменяет истине . . . И сколько таких неубежденных глубоко, но практически примыкающих к большевизму в рядах той революционной интеллигенции, которая в массе способствует теперь гибели России, без глубокой веры и увлечения . . . Может быть, самой типичной в этом смысле является «модернистская» фигура большевистского министра Луначарского. Он сам закричал от ужаса после московского большевистского погромного подвига . . . Он даже вышел из состава правительства. Вернулся опять и пожимает руку перебежчика Ясинского и . . . вкушает с ним «идоложертвенное мясо» без дальнейших оглядок в сторону проснувшейся на мгновение сости . . .»¹.

Уже к началу тридцатого стало совсем худо. Россия превратилась в совсем больное общество. Об этом свидетельствует литературными средствами А. Платонов в «Котловане». Об этом духовном кризисе, потрясшем Россию, с болью пишет М. Пришвин в своем дневнике «1930 год».

29 января. «Сколько размножилось безжалостных людей, выполняющих тяжкие государственные обязанности по Чека, Фиску, коллективизации мужиков и т. п. Разве думать только то, что все это молодежь, поживет, посмотрит и полегчает . . .» .

24 февраля. «Самых хороших людей недосчитываешься: честнейший человек в уезде, всеми уважаемый, описанный мной в «Журавлиной родине» А. Н. Ремизов сидит в тюрьме. Академик Платонов, которого я слышал когда-то . . . И какая мразь идет на смену. Так создается новое время, и хорошие новые люди не будут, как

¹ Шалапин Ф. И. Маска и душа, с. 239.

¹ В. Г. Короленко в годы революции, с. 76—78.

мы, верить себя: они будут знать, что вокруг них мразь...¹

Меня уже давно мучает вопрос. Думал ли Ленин, все вожди Октября, как будет житься в России образованному классу, когда он окажется под властью диктатуры пролетариата, под властью Железныковых, Шигонцевых? Сколько им придется страдать и терпеть от этих не доросших духовно до власти людей, от их грубости, жестокости, неизбежных комплексов? Ведь она-то, ленинская гвардия, относилась к образованному классу России и знала, как порой груб невежественный человек при власти, как страшно русское унтерпришибейство.

Я с большой долей достоверности могу предполагать, что Маркс, сформулировавший идею диктатуры пролетариата, связавший революционный взрыв с пауперизацией большинства населения, никогда всерьез не думал, что будет происходить в душах образованных людей, тонко чувствующих трагизм насилия, братоубийственной войны. Маркс мыслил на таком уровне абстракции, настолько был увлечен логической красотой своей теории, что просто не смог опуститься на грешную землю и хотя бы раз в жизни серьезно подумать, что это такое в духовном, нравственном отношении диктатура наименее образованной, наименее квалифицированной и воспитанной части общества и к чему она может привести. Он к такого рода раздумьям просто не был готов духовно.

Есть десятки, сотни свидетельств тому, что вся ленинская гвардия, все вожди Октября не любили русское просвещенное общество, не любили интеллигентов в высоком смысле этого слова, людей, достигших высот профессионализма. И дело не только в классовом подходе, который сразу же поставил в иерархии духовных ценностей, в их собственных глазах недоучившихся семинаристов, недоучившихся студентов выше самых лучших и самых одаренных приват-доцентов и профессоров университетов. Они, к примеру Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, люди маргинальные, образовавшиеся и живущие на границе различных социальных слоев, ненавидели эту профессор-

скую белую кость так же, как и революционные матросы. Они тяготились тем, что как профессиональные революционеры вынуждены были иметь дело с различного рода уголовниками, людьми типа Сталина, Камо. Их подсознание было отягощено: ведь они, по сути люди способные, выбрали себе такую карьеру, которая никак не позволяла им всерьез развить свои духовные задатки. Отсюда, возможно, неосознанная зависть к тем, кто сумел при жизни, в честном соревновании с другими достичь высот профессионального мастерства, мировой известности.

Этим страдал даже Ленин, хотя для комплексов подобного рода у него было меньше всего оснований. Но тем не менее все его работы проникнуты явным, подчеркнутым неуважением к немарксистской гуманитарной русской интеллигенции, то есть к подавляющей части русских мыслителей его эпохи, к русским, которые, как потом оказалось, навсегда оставили след в мировой культуре, с именами которых связана вся гуманитарная культура XX века, — это Н. Бердяев, П. Сорокин, Л. Шестов, С. Булгаков, Е. Трубецкой, П. Струве и другие. Все, что оставили после себя даже лучшие, наиболее образованные представители ленинской гвардии, в интеллектуальном, духовном отношении просто ничто по сравнению с культурной ценностью наследия этих людей, которых после революции клеймили как гниющую интеллигенцию. Вся эта «либеральная сволочь» изгонялась из страны, чтобы было меньше идейных соблазнов.

Я не могу понять, почему ленинская гвардия так варварски расправилась с интеллектуальным фондом России, доставшимся в наследство от прошлого. У Ленина иногда встречаются высказывания, где он в угоду классовому подходу вообще игнорирует проблему интеллектуальных сил нации и их охраны. Так, в письме к А. М. Горькому от 15 сентября 1919 года Ленин дал отрицательную оценку очеркам В. Г. Короленко «Война, отечество и человечество». «Интеллектуальные силы» народа, — писал он в этом письме, — смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко... А какая гнусная,

¹ Пришвин М. 1930 год, с. 143.

подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрасудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне — дело, заслуживающее поддержки . . . а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики . . . Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г . . .».¹

Нет нужды доказывать, что все рассуждения Ленина о том, что интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут в ходе гражданской войны, — полная, беззастенчивая демагогия. Меня в этом письме, впрочем, не удивила сама по себе подмена серьезного исследования серьезной проблемы классового, во многом вульгарной, демагогией. Это, к сожалению, очень типично для многих ленинских работ. В известной статье «О значении воинствующего материализма» Ленин использует тот же прием и для опровержения П. Сорокина, утверждавшего, что империалистическая, а затем гражданская война привела к разрушению брака², к подрыву устоев морали. Как известно, именно эта статья послужила сигналом к удалению из России тех мыслителей, ученых, которые не хотели мыслить в ногу со временем, с учением о классовой борьбе. Нет, меня больше удивил тот факт, что Ленин, как и Троцкий, настойчиво, на протяжении многих лет толкавшие рабочий класс и беднейшее крестьянство к драке, к справедливой, как они считали, расправе с помещиками и буржуями, не представляли себе конкретно, какая это страшная наука, если ты не садишь, убивать себе подобных, убивать своих соотечественников, говорящих на твоём языке. Допустим, что страдания и муки всей этой «буржуазной сволочи», всех этих юнкеров, священников не прини-

мались ими, «ленинской гвардией», во внимание, те были для этих, по классовому разумению, недюди¹. Но ведь о душах рабочих и крестьян, которым они уготовили роль палачей, расстрельщиков, погромщиков, экспроприаторов, «твердокаменные» должны были подумать. Ведь чтобы убить другого сознательно, чтобы убить старика, ребенка только за то, что они принадлежат к другому классу, надо, повторяю, если в тебе есть что-то человеческое, озлобиться, и прежде всего задавить в себе все человеческое. Существует существенная разница между войной на линии окопов и нашей гражданской войной, которая велась по законам марксизма, то есть с использованием террора, массовых расстрелов заложников, невинных людей, для устрашения врагов пролетариата.

Да, империалистическая война была омерзительна по своей бессмысленности, по своей жестокости. Но ведь наша гражданская война, а затем продолжавшиеся еще многие годы репрессии против «бывших», в сотни раз омерзительнее. У солдата, дрогнувшего душой, была надежда на плен. Классовая борьба с буржуазией никому надежды, как правило, не оставляла. Ни белым, ни красным.

Вот как описывал будни красного террора (по мнению О. Лациса, благородного и оправданного), репортер из подвалов Чека — сочувствующий, кстати, делу истребления класса буржуазии, писатель В. Зазубрин. «Больно стукнуло в уши. Белые серые туши мяса (раздетые люди) рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами отбежали назад и сейчас же зацеловали курками. У расстрелянных

¹ 13 ноября. Запись в дневнике: «Трагедия России идет своей дорогой. Куда? . . . Большевики победили в Москве и в Петрограде. Ленин и Троцкий идут к насаждению социалистического строя посредством штыков и революционных чиновников . . . Во время борьбы ленинский народ производил отвратительные мрачные жестокости. Расстрелянных после сдачи оружия юнкеров ввели в крепость, но по дороге останавливали, ставили у стен и расстреливали и кидали в воду. Это, к сожалению, точные рассказы очевидцев . . . Большевиком изолируется и обнажается в чистую охлократию» (В. Г. Короленко в годы революции, с. 64).

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51, с. 48.

² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45, с. 31—32.

в судорогах дергались ноги. Тучный со звонким визгом вздохнул в последний раз... Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на шею петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно... Трое стреляли как автоматы, и глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно... Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пеннелась жгучей злобой... И тогда, поднимая револьверы к затылкам голым, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания... Раздевшиеся живые смеялись раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой. В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шею расстрелянных... Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих¹. Все это происходило в 1923 году, когда Сталин еще и не предполагал, что он станет самодержцем России.

Могли ли люди, рабочие и крестьяне, в массе, десятками, сотнями тысяч прошедшие через чекистские фабрики смерти, грабежи, через участие в расстрелах пленных, приобрести, как полагал Ленин, интеллектуальные силы, стать чище?! Развитие их сознания и души шло в прямо противоположном направлении. После того как все они были повязаны кровью, они оказались восприимчивыми к классовой идеологии. У них уже не было другого выхода, как только удерживать власть и бороться «до упора».

И за это прежде всего несут мо-

ральную ответственность «твердокаменные», которые сознательно развязали гражданскую войну в России. Тех, кто организовал все это, у меня язык не поворачивается назвать духовно развитыми людьми, интеллигентами. Классовая, гражданская война в России, при ее чудовищной жестокости, могла сформировать только полулюдей, духовных калек, составивших социальную базу сталинского режима.

МОГЛИ ЛИ «ТВЕРДОКАМЕННЫЕ» ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ МИР?

Конечно, вольному воля. Исторической заслугой перестройки является то, что она позволила людям не скрывать своих симпатий и антипатий, открыто говорить о своих политических кумирах, что она раскрыла нам действительное разнообразие политических интересов, оттенков мнений в нынешнем преобразовательном процессе.

Одним ближе тот Ленин, который призывал как можно меньше разрушать, как можно больше сохранить от старой России, от старой народной (читай — крестьянской) жизни. Потому для них сталинщина — это прежде всего разрушение основ и предпосылок народной жизни.

Другим, пишушим на эту тему, а на сегодняшний день таких больше, ближе Ленин времен гражданской войны. Ленин, который видит смысл социалистического строительства в России в том, чтобы сломать хребет российской мелкой буржуазии, до основания разрушить старую, ситцевую буржуазную Россию, который гордится тем, что «у нас есть практический опыт осуществления первых шагов по разрушению капитализма в стране с особым отношением пролетариата и крестьянства»¹. Эти авторы, напротив, объясняют сталинщину тем, что поставленную Лениным задачу так и не удалось решить, так и не удалось подчинить революции мелкобуржуазную (читай — крестьянскую народную) Россию, довести до конца важное дело «отбра-

¹ Цит. по: «Литературное обозрение», 1989, № 12, с. 48.

¹ См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 38, с. 180.

сывания старой буржуазной культуры¹.

Если можно любить Сталина и поклоняться ему, то почему не может вызывать восторг и блеск в глазах великий «расстрельщик» нашей революции Л. Д. Троцкий. Каждый волен выбирать себе свой объект поклонения. Одни поклоняются «твердокаменным», другие — «мученикам» революции, жертвам их подвижничества и служения идее.

Разве не достойна, к примеру, уважения вера публициста Отто Лациса в то, что «твердокаменные», старая гвардия, были исключительными людьми, сами обладали всем необходимым (и опытом, и духовными качествами), чтобы удержать революцию от левацких срывов, обеспечить экономический, политический и культурный прогресс? «Под силу ли такая задача нескольким тысячам — верхушке партии? — спрашивает он. И отвечает: — Под силу, если только не будут мешать друг другу»².

Но, уважая особое расположение Отто Лациса к тем, кто, как он пишет, «заниjali все ключевые позиции в партии и государстве», мы тем не менее не должны лишать себя права и на собственное мнение на этот счет. Во-первых, вызывает серьезное сомнение, что эти люди, руководившие процессом «отбрасывания старой буржуазной культуры», были в состоянии сами, без поддержки других социальных сил, восстановить в стране полнокровную духовную жизнь, воссоздать условия для культурного творчества, биения мысли. Обращает на себя внимание, что «твердокаменные» не видели, не чувствовали этой проблемы — проблемы восстановления в России правового государства, создания условий для свободного духовного и интеллектуального творчества. Эти люди, принявшие в двадцатые годы самое непосредственное участие в разрушении большинства культурных оснований общественной жизни, включая церковь³, склады-

вавшийся веками народный быт, вековые традиции, вряд ли могли осознавать стоящие перед ними в этой области задачи, могли своим умом и душой оплодотворить культурный прогресс.

На фоне той культурной и интеллектуальной нищеты, которую оставил в партии и обществе Сталин, на этом фоне и Зиновьев, не говоря уже о Бухарине, могут восприниматься как светочи мысли. Но только в обществе, которое превратилось в пыль, социальную пустыню.

На самом же деле мышление этих людей было поразительно плоско, заданно, не выходило за рамки одной и той же схемы классового подхода, рассуждений о непримиримой борьбе нового мира со старым. Перелистайте книгу Карла Радека «Портреты и памфлеты». Чем не сталинский железный язык, поучающий, не терпящий возражений, оскорбляющий человеческое достоинство, язык революционного трибуна. «Наши художники, — обрушивается на Бабеля, Всеволода Иванова и Пильняка Карл Радек, представитель тонкого слоя партийной интеллигенции, — плохие работники, они не любят труда. Они выросли на навыках богемы, усиленных беспорядочной жизнью времен гражданской войны. Им не хочется жить в условиях деревни, не хочется ездить в третьем классе... Не хочется спускаться в шахты, жить в рабочих поселках... Они не знают ни рабочего, каков он есть, ни крестьянина наших дней...»⁴

При желании можно и у Карла Радека найти искру духовности. Но все же, если не терять разум, то вряд ли можно доказать, что этот человек обладал большим духовным и нравственным развитием, чем вождь всех народов. Трудно поверить, чтобы партийный руководитель, настаивающий на том, чтобы каждый советский писатель стал коммунистом, «коммунистом на основании глубоких

¹ См.: Лацис О. Перелом. — «Знамя», 1988, № 6, с. 170.

² См.: Лацис О. Перелом. — «Знамя», 1988, № 6, с. 127.

³ Священнослужители уничтожались физически, ученые-теологи изолировались от народа. В 1925 г. около 200 ведущих специалистов — в том числе и

в области религиозной философии — были высланы из страны. Гонениям подвергались не только представители русского православия. Из 166 буддийских монастырей, существовавших до 1917 г., к 1941 г. не осталось ни одного, из 20 тысяч мечетей — тысяча.

⁴ Радек К. Портреты и памфлеты. Книга первая. М., 1933, с. 317.

внутренних решений, проверяющим себя ежедневно на общественной работе»¹, мог оплодотворить душу культуру нашей страны. Как показал критик Вадим Кожин, для этого не было ни внутреннего такта, ни души даже у Бухарина — самого искренне романтика среди старой ленинской гвардии.

Впрочем, стоит ли удивляться тому, что коммунисты, сформировавшиеся как личности в начале века, под влиянием идеи непримиримого антагонизма старого и нарождающегося нового мира, не отдавали себе отчета: чем является культура и как ее развивать. Ведь и наш современник О. Лацис свято верит в необходимость «отбрасывания старой буржуазной культуры», убежден, что все дело в том, чтобы как можно быстрее и искусно влить в образовавшийся духовный вакуум «развитое пролетарское сознание», как можно быстрее на освободившемся месте построить здание новой, социалистической культуры. Прямо не верится. Конец двадцатого века. А тем не менее серьезные, на первый взгляд, люди продолжают твердить, что достаточно нам было добиться «устойчивости пролетарского сознания», «более высокой ступени пролетарского самосознания» (О. Лацис) — и не было бы сталинизма, и нам бы удалось достичь высот экономического, социального и культурного прогресса. И это когда всему человечеству ясно, что никакие преобразования собственности, никакая чистота классового сознания сами по себе не в состоянии компенсировать дефицит компетентных инициативных людей, способных думать, принимать самостоятельные решения, не в состоянии компенсировать дефицит мастерства, интеллекта, знаний.

Это миф, что так называемый тонкий слой «твердокаменных» мог заменить собой огромное количество ученых, философов, выдающихся промышленников, организаторов производства, деятелей культуры, писателей, композиторов, певцов. «Деятели культуры и науки, ушедшие в эмиграцию, — пишет Владимир Шубкин, — формировались на вели-

ких традициях русской культуры, особенно XIX века. Они существенно повысили интеллектуальный потенциал Европы и Америки. В то же время это был огромный, часто невозполнимый вычет из отечественной культуры, из нашего генофонда».

Публицисты, пытающиеся сегодня сконструировать новый объект поклонения, поставить на наш историко-партийный пьедестал, освободившийся от порочной фигуры Сталина, его жертвы, то есть Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, совершают тяжкий грех. И не только по отношению к нашей истории, ибо вводят в заблуждение общественность, искажают историческую правду. Доказано, что «твердокаменные» обладали всеми необходимыми духовными и нравственными совершенствами, чтобы противостоять реставрации военного коммунизма и террора, невозможно.

Ведь в двадцатые годы к последнему решительному бою с остатками капитализма в мире звали не только левые оппозиционеры, но и беспартийные поэты и писатели. Вспомним, к примеру, В. В. Маяковского, который предлагал поставить на Красной площади «исполинских размеров фигуру Ленина, призывающего пролетариат на смертный бой с капитализмом». Вспомним почти физиологическую ненависть к российской деревне Максима Горького только за то, что «значительный процент крестьян хотят быть сытенькими буржуями — не больше этого». Вспомним, что Горький, автор «Несвоевременных мыслей», пытавшийся в 1917 году обуздать разрастающуюся волну насилия, уже в начале тридцатых сам провоцировал еще более страшное насилие, призывал к уничтожению не согласных с коллективизацией крестьян. При этом он, как и все «твердокаменные», включая Сталина, ссылался на то, что в стране продолжается состояние гражданской войны. Если крестьянин-частник не понимает, писал М. Горький, что закончились «сроки, отведенные ему историей», то «это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод:

¹ Радек К. Портреты и памфлеты. Книга первая. М., 1933, с. 320.

¹ Горький М. Владимир Ильич Ленин. — «Родина», 1989, № 4, с. 13.

если враг не сдается — его уничтожают»¹.

Где гарантия, что Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, принявшие такое активное участие в насаждении гражданской войны в деревне в 1918 году во имя быстрейшего воплощения своей «сердечной» мечты о социализме², не прибегли бы, как Сталин, к «насаждению» колхозов и совхозов? Оставаясь в рамках логики и сохраняя верность фактам, ее трудно найти.

Если Карл Радек даже в условиях нэпа, в середине двадцатых, позволял себе указывать писателям, где им искать источник вдохновения, в каких вагонах ездить и в какое время вставать по утрам, то тем более на это право «понаблюдать» за кухней творчества могли претендовать те, кто был еще разгорячен победой, утверждал в жизни идеологию и принципы военного коммунизма. Во время революции, писал Ф. И. Шляпин, большую власть над театром забрали люди, никакого отношения к театру не имевшие, особенно ему досталось от дам-наблюдательниц. «Но они были коммунистки или жены коммунистов, и этого было достаточно для того, чтобы их понятие об искусстве и о том, что нужно «народу» в театре, становилось законом. Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды моего «друга» Куклина, сводившиеся к тому, что, кроме пролетариата, никто не имеет никаких оснований существовать и что мы, актеры, ничего не понимаем. Надо-де нам что-нибудь выдумать для пролетариата и представить . . . И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах. Это он убивал и заморажи-

вал ум, опустошал сердце и вселял в душу отчаяние»¹.

Конечно, можно вслед за О. Лацисом, В. Логиновым, И. Клямкинским и многими другими авторами называть Радека, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова и прочих членов ленинского ЦК интеллигентными людьми. Но тогда только надо пояснить, что речь идет об особенном типе российской разночинной интеллигенции, о той новой большевистской интеллигенции, которая пришла разрушать старую, либеральную русскую интеллигенцию, которая принесла вместо духа терпимости дух нетерпимости, вместо поиска истины — утверждение авторитета догмы, вместо правдолюбия — верность партийной, классовой дисциплине, вместо сострадания — жестокость.

Мы, нынешнее поколение советских людей, подсознательно прониклись уважением к вождям Октября, к жертвам Сталина, когда впервые увидели их лица в фильме о похоронах В. И. Ленина. Повторюсь — эти выразительные, подвижные лица Бухарина, Каменева, Зиновьева, Рыкова, Томского несомненно выигрывали на фоне известных нам с детства физиономий Сталина, Молотова, Кагановича, Кирова. Ленинская гвардия в интеллектуальном отношении внешне явно выигрывала у сталинской. Тут не о чем спорить. Но все зависит от точки отсчета. Вон, например, на тех же лицах представителей ленинской гвардии Н. А. Бердяев находил печать вырождения. И при этом он все же их уважал как политических деятелей, как полноправных победителей. Вот что он писал по этому поводу в своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма»: «Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устройство жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это — мировое явление, одинаково обнаружившееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, как в 60-х годах, при появлении ни-

¹ Горький М. Если враг не сдается — его уничтожают. Сборник публицистических статей. М., 1931, с. 91—92.

² В речи 4 июля 1918 г. Л. Троцкий напутствовал продотрядников: «Вы, московские пролетарии . . . пойдете под знаменем Советской власти в деревне крестовым походом на кулака . . . Наша партия — за гражданскую войну! Гражданская война уперлась в хлеб. Мы, Советы, в поход» (См.: Троцкий Л. Д. Соч., т. XVII. Ч. I. М.—Л., 1926, с. 404).

¹ Шляпин Ф. И. Маска и душа, с. 240.

листов, более мягкий тип идеалистов 40-х годов заменен был более жестким типом, в стихии победоносной революции, вышедшей из стихии войны, тот же процесс произошел в более грандиозных размерах (...). Коммунисты с презрением называли старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40-х годов дворянской, барской (...). Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной»¹.

Наверное, чтобы спокойно, без эмоций оценить то, что произошло с нами в 1917 году, кто победил в Октябре, оценить достоинства и качества тех, кому действительно удалось свернуть Россию с магистральной дороги развития цивилизации, необходимо мыслить в том же направлении, то есть отделить друг от друга две социальные реальности, два объекта исследования. Проблема их выигрыша, их победы, и проблема их духовного, нравственного развития никак не связаны. Это их связала наша пропаганда для укрепления легитимности, нравственной оправданности нашего прежнего политического существования. Конечно, людям на душе легче, когда они убеждены в том, что их самый справедливый и передовой общественный строй создавали самые справедливые и нравственные люди. Но так в истории бывает редко. По крайней мере, как теперь ясно, люди, приходящие к власти в результате насильственного, революционно-го захвата власти, прежде всего должны обладать какими-то другими качествами. С помощью благонравия власть не захватишь. Они должны были быть искусными стратегами, чувствовать настроения масс, находить наиболее доступные для них лозунги, не брезговать никакими средствами, не упускать момента и т. д. Всеми этими качествами обладало руководство большевистской партии, и потому оно выиграло. Оно выиграло Октябрь блестяще, по всем правилам

политического искусства. Несомненно, выдающимся политиком XX века, всего нового времени был Ленин¹. Но этот несомненный факт сам по себе не содержит в себе ничего другого. Нет никаких гарантий, что люди, умеющие выигрывать революции, освоившие профессию революционной борьбы, в равной мере могут и другое, к примеру создать эффективную и рациональную экономику, накормить людей, создать духовно здоровое общество и т. д.

СМЕНА КРИТЕРИЕВ. ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА К СЕМЕЙСТВЕННОСТИ МАЛООБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ

Трагедия нашей революции, страны состоит в том, что люди, взвалившие на себя груз ответственности за судьбы огромной державы, взявшие в свои руки руководство народным хозяйством, в массе своей к этому были просто не готовы. Многие из них были очень молоды. Они духовно не созрели для того, чтобы вершить судьбы людей, находить правильные решения в сложных ситуациях.

Никакая революция не может отменить естественные законы духовного созревания человека, естественное перерастание романтизма молодости в мудрость старости. Революция привела к власти максимализм молодых. Впервые в русской истории возникла противоестественная ситуация, когда новые поколения, не прошедшие школу жизни, начали учить истине тех, кто был старше их, — своих отцов и дедов. В революции побеждают молодые, она является их праздником. Однако именно в этом и заклю-

¹ «Ленин, — писал Н. Бердяев, — был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский и делал революцию в России, стране совсем особой. Он обладал исключительной чуткостью к исторической ситуации. Он почувствовал, что его час настал, настал благодаря войне, перешедшей в разложение старого строя. Нужно было сделать первую в мире пролетарскую революцию в крестьянской стране» (Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 102).

¹ Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 101. См. также: «Юность», 1989, № 11, с. 86.

чен весь трагизм революции. Без энтузиазма и романтизма молодежи революция не может победить. Но чем больше роль молодежи в революции, тем труднее перейти к созиданию, к полнокровной жизни. Романтизм, а тем более идейный фанатизм, вообще не несет в себе конструктивного начала.

Наиболее трагические формы этот мир наизнанку, когда нарушился естественный ход жизни, принял в период коллективизации. Это уже был фантазмагорический абсурд. Юнцы с пистолетом, ничего не знавшие о земле и хлебе, учили седовласых стариков, как работать на поле, как сеять и как жать. Произошло то, что было сказано: дети начали учить стариков — и складывающийся столетиями лад зашатался. «Мужики больше всего волнуются, — пишет в своем дневнике М. Пришвин, — что в делах хозяйства им указывают ничего не понимающие мальчишки. Молодость, невежеством . . . объясняется возникновение такого множества негодяев среди партийцев, строителей колхозов»¹.

Воспоминания Н. Валентинова, его анализ психологических истоков склоки между Лениным, с одной стороны, и Плехановым, Аксельродом, Потресовым, Засулич — с другой, подтверждают вывод Н. Бердяева, что большевики — это не просто социал-демократическая параллельная партия, сосуществующая с меньшевиками, а новое, более молодое поколение, новый тип личности, решительно порывающий с прежней мягкостью, способностью к сомнению, с доброжелательностью в общении — чертами, характерными и для плехановской гвардии. В своем самоощущении, что он, Ленин, «в некотором роде помещичье дитя», пишет Н. Валентинов, у него «тут ничего отличного от других помещичьих детей — от Плеханова, Потресова, Засулич. Но дальше уже громадное различие. Плеханов, как Потресов и Засулич хотели бы, чтобы вопрос о «Гудаловках, Никольских, Беколовых» революция решала без варварства, не убивая владельцев «дворянских гнезд», не поджигая их дома, не выбрасывая их из «гнезд» голыми, без

всякого имущества. Так не поступают, писал Плеханов, если «у победителя сердце льва, а не гиены». Ленин рассуждал по-иному: победитель должен быть беспощадным»¹.

Николаю Бухарину, лидеру левой оппозиции в период Брестского мира, было всего тридцать лет, и он мыслил тогда, как положено мыслить тридцатилетнему. Ему не был доступен смысл смерти, он не чувствовал всю противоестественность насильственной смерти. Он вряд ли мог осознавать, какую величайшую духовную ответственность берет на себя человек, распоряжающийся жизнью других людей.

Произошло то, к чему вела вся логика русского революционного движения. Радикализм соблазнил прежде всего учащуюся и студенческую молодежь. И ей было суждено разрушить старую Россию. Русская дореволюционная молодежь с наибольшей пылкостью выразила тип героического максимализма. По этой причине, как отмечал, исследуя, это явление, С. Булгаков, «если в христианстве старчество является естественным воплощением духовного опыта и руководства, то среди нашей интеллигенции такую роль естественно заняла учащаяся молодежь . . . Это уродливое соотношение, при котором оценки и мнения «учащейся молодежи» оказываются руководящими для старейших, переворачивает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубно и для старших и для младших . . . Отсюда то глубоко прискорбное и привычное равнодушие и, что гораздо хуже, молчаливое или даже открытое одобрение, с которым у нас смотрят, как наша молодежь без знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентного героизма берется за серьезные, опасные по своим последствиям социальные опыты . . .»²

И еще одно существенное обстоятельство, которое надо принимать во внимание, когда мы хотим понять, что же с нами произошло. Речь снова идет об уровне образовательной под-

¹ Валентинов Н. Встречи с Лениным, с. 163.

² Булгаков С. Н. Героизм и подвигничество. — Изд-во «Вехи». М., 1909, с. 43—44.

¹ Пришвин М. 1930 год, с. 153.

готовки «твердокаменных», в массе. Он был очень низким. Драма нашей революции состояла в том, что уникальная по своей сложности и ответственности задача, то есть творить новую историю, творить новое общество и нового человека, досталась людям, в подавляющем большинстве так и не сумевшим составить себе точный, исчерпывающий образ культуры и мира, который они стремились переделать.

Ощущения людей, живших в ту пору, ощущения наших бабушек и дедушек, которые воспитывали нас, внуков, рожденных в конце тридцатых — начале сороковых, и которые пытались передать нам свой духовный опыт восприятия и сопереживания революции, не имеют ничего общего с мифом о ленинской гвардии как просвещенных правителях России. Приходы Советов людьми, очень далекими от политики, воспринимался как победа невежественных, необразованных над интеллигентными и образованными. Об этом мне рассказывала даже мачеха моей мамы, Мария Федосеевна, окончившая всего лишь церковноприходскую школу в селе под Бобруйском. Годы революции, гражданской войны, все эти (в то время, в начале пятидесятых) шестидесятилетние старухи запомнили не только как годы «голодного кошмара», но и как годы, когда «необразованная гольтьба», «хамы», «босяки» стали хозяевами жизни. Поэтому, когда я начал читать главу «Под большевиками» из книги Ф. И. Шалапина «Маска и душа», у меня было такое ощущение, что все это я уже от кого-то слышал. «Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и заведовавшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще всеми теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного и грубого партийца. Но таких невежественных и грубых партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей».

Внешне благородная демократи-

ческая идея Ленина, что «каждая кухарка должна уметь управлять государством», по сути была идеей разрушительной. Мы потому и не можем сейчас выбраться из тупика, что нами долго управляли неучившиеся и недоучившиеся. Как известно, прапорщик Н. В. Крыленко сразу же после Октября, в пику буржуазии, был назначен Главковерхом, неграмотный матрос Н. Г. Маркин — секретарем Наркомата иностранных дел, а не шибко грамотный М. Т. Елизаров — наркомом путей сообщения. И, несмотря на все эти факты, наши историки продолжают поддерживать миф о ленинском, мол, самом просвещенном правительстве России.

Не надо забывать, что среди «твердокаменных», составивших большинство на VIII съезде РКП(б), на съезде, который еще в 1919 году принял программу непосредственного, развернутого строительства коммунизма, одна четверть не имела никакого образования. Может быть, здесь и коренятся истоки той феноменальной левизны, которая снесла с лица многое, без чего общество не может жить и нормально развиваться? Может быть, мы действительно лишились национальной интеллигенции еще и по той причине, что она своим существованием, своим языком, манерой поведения, стилем мышления раздражала тех из «твердокаменных», кто им явно уступал в уровне интеллектуального развития, в способности к гибкому, всестороннему анализу явлений?

Не следует забывать, что устранение тех, кто стремился сохранить свободу суждений, право на самостоятельное мышление, началось задолго до великого перелома 1929 года. Хорошо известно, что всемогущий владыка революционного Петрограда Григорий Зиновьев питал недобрые чувства к Максиму Горькому прежде всего потому, что тот задался целью спастись от гнева новой власти старую буржуазную интеллигенцию. Наверное, нельзя было ничего другого ожидать от этого владыки, который вообще не имел никакого систематического образования. По этой же причине питала неприязнь к Максиму Горькому и Ольга Каменева, сестра Л. Д. Троцкого.

После смерти Ленина в наркоматах, за исключением незначительного

числа буржуазных спецов, способных разбираться в хозяйственных делах, преобладали партийные литераторы, для которых главной специальностью была революционная агитация и организация революционных масс.

Мы как-то запамятовали, что все выдающиеся представители сталинской гвардии, к примеру В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, начинали свою карьеру как члены ленинской гвардии. Не следует забывать, что В. М. Молотов, который, по едкому замечанию Л. Д. Троцкого, обладал такой же способностью к мысли, как задница, до Октября был редактором «Правды», при Ленине руководил Оргбюро. И все эти руководящие должности в партии занимал человек, который формулировал мысль «медленно и трудно».

Хорошо известно, что Л. М. Каганович, начавший делать головокружительную карьеру после революции, еще при Ленине, в 1922 году, ставший заворотделом ЦК, был крайне малограмотен. Сапожник по профессии, не получивший никакого образования, он писал с грубыми грамматическими ошибками, а писать литературно просто не умел.

Ни Сталин, ни Бухарин, ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев не обладали необходимыми инженерными экономическими знаниями, чтобы составить реалистический образ руководимой ими экономики, найти оптимальный с экономической точки зрения способ преодоления отсталости. Григорий Яковлевич Сокольников (настоящая фамилия Бриллиант), с его блестящими, разносторонними способностями (до революции он был присяжный поверенный), скорее всего был исключением среди ленинской гвардии.

Сверхлживизна Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина стимулировалась также неразвитостью их экономического мышления. Отсюда стремление действовать нахрапом, с помощью насилия, прибегая к угрозам. Отсюда и мистическая вера в чудо революции, в героический порыв масс. Впрочем, и при жизни Ленина не раз хозяйственные решения вытекали не столько из экономического анализа, сколько из веры в чудо революции¹.

Очень многое в нашей послеоктябрьской истории объясняет тот факт, что среди «твердокаменных», среди тех 2% членов партии, которые стали большевиками до Февральской революции и затем заняли руководящие посты в партии и в государстве, были просто малообразованные люди. Начальное образование было у К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича, М. П. Томского, А. А. Андреева. Значительная часть делегатов VIII съезда РКП(б) (1919 г.), на котором была принята II программа партии, программа перехода от России капиталистической к России коммунистической, определявшая судьбы нашей страны вплоть до 1961 года (новая Программа КПСС была не менее утопичной), не имели никакого образования.

Впрочем, изначальный изъян рабоче-крестьянской революции состоял не только в том, что она привела к власти невежественных людей — сапожников, парикмахеров, подмастерьев.

Оказывается, революция, родившаяся из произвола, насилия над всеми законами человеческого общежития, не смогла удержаться даже на таком зыбком и ненадежном

паровозов дошло до 60%, считалось твердо установленным, что к весне 1920 г. процент больных паровозов должен дойти до 75. Так утверждали лучшие специалисты. Железнодорожное движение теряло при этом всякий смысл, так как при помощи 25% полудорожных паровозов можно было бы лишь обслуживать потребности самих железных дорог, живших на громоздком древесном топливе. Инженер Ломоносов, фактически управлявший в те месяцы транспортом, демонстрировал перед правительством диаграмму паровозной эпидемии. Указав математическую точку на протяжении 1920 года, он заявил: «Здесь наступает смерть». — Что же надо сделать? — спросил Ленин. — Чудес не бывает, — ответил Ломоносов, — чудес не могут делать и большевики. — Мы переглянулись. Настроение царило тем более подавленное, что никто из нас не знал ни техники транспорта, ни техники столь мрачных расчетов. — А мы все-таки попробуем сделать чудо, — сказал Ленин сухо, сквозь зубы. В ближайšie месяцы положение продолжало, однако, ухудшаться. Для этого было достаточно объективных причин» (Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Ч. II. Изд-во «Гранит», Берлин, 1930, с. 197—198).

¹ «Осенью 1919 года, — вспоминал Л. Д. Троцкий, — когда число больных

регуляторе общественной жизни, как классовое, пролетарское происхождение. Я лично никогда, вернее с первого курса университета, когда всерьез занялся историей партии, никогда не питал уважения к деятелям ленинского штаба революции. Как только раскрылся обман с ленинским Декретом о земле, все стало ясно. Переломить себя я уже никогда не смог. Проникся на время, после того как прочитал, что можно было прочитать в библиотеке, об апрельском Пленуме ЦК и ЦКК 1929 года, симпатией к Бухарину и Рыкову как защитникам российского крестьянства. Более близкое знакомство с личностью Н. И. Бухарина, с его речами середины двадцатых, уже в наше перестроечное время, уничтожило это чувство, которое долгое время владело мной. Но до знакомства с воспоминаниями Б. Бажанова я никак не предполагал, что все эти вожди были так циничны, что их власть с первых дней революции превратилась во власть семейных кланов, во власть грызущихся между собой семейных кланов. И это все началось при Ленине, и он все это видел! Какая там интеллигентность! Типичное провинциальное нахальство. Цари не раздавали своим братьям с такой легкостью посты в государстве, как новые хозяева Кремля. Когда читаешь раздел воспоминаний о семейном клане Свердловых, то сразу в сознании всплывает интонация книги «Бытие» из Ветхого завета. Сначала был Яков Свердлов, видный член большевистского ЦК, правая рука Ленина и председатель ВЦИК. По поручению Ленина хитро устроившись от формальной ответственности, он известил местные уральские большевистские власти, что передает вопрос об участии царской семьи на их решение. Затем был его брат Вениамин Михайлович, до революции собственник небольшого банка в Америке; никакого отношения к социализму и большевизму не имел. Но брат Яков вызвал его из Америки и предложил Ленину назначить Вениамина на пост наркома путей сообщения. К этому времени первый советский «наркомпуть» наделал такой несусветной чепухи, что его надо было снимать. Правда, Вениамин, будучи честным человеком, сам обнаружил, что он на этом посту ничего не может сделать, и предпо-

чел перейти в члены Президиума ВСНХ.

Опускаю значительную часть повествования Б. Бажанова о семье Свердловых и перехожу к его концу. «У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень способный и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь — его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.

Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтет в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идеи, снова украл все инструменты и сбежал. После революции все это забылось. Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере — он стал вхож в кремлевские круги»¹.

Редакторы «Огонька» вовремя прервали повествование Б. Бажанова о нравах новой власти, отослав читателя к продолжению. Душа действительно не выдерживает. Во имя чего была разрушена страна, во имя чего, в адских муках голода, гражданской войны, на фабриках смерти ЧК, погибли миллионы россиян? Во имя того, чтобы брат Вениамин руководил

¹ Бажанов Б. Кремль, 20-е годы. — «Огонек», 1989, № 39, с. 29.

железными дорогами, жена Надежда — просвещением, сестра Ольга — театрами, а сват Ягода получил власть над жизнью десятков миллионов. И на это пошли люди, которые только и говорили о новом человеке, о коммунистическом альтруизме, которые планировали целую цепь Октябрьских революций. И после всего этого наши уважаемые публицисты и историки пытаются убедить читателя, что всеми вождями Октября, кроме подонка Сталина, двигала чистая идея, романтическая любовь к социализму, что у них было что-то за душой. Ведь головорез Сталин из этой же среды. Она его воспитала, она ему дала помощников, сподручных. Не будь Зиновьев и Каменев разложившимися политиканами, авантюристами, они бы никогда не дали власть Сталину над страной и партией. Тогда, на экстренном Пленуме ЦК в мае 1924 года, они вели себя, как было принято вести себя политикам большевистского масштаба, но у них явно не хватало ни ума, ни чутья Ленина. Его ученики уже не годились для проведения в жизнь его тактики компромиссов¹. На фоне таких законченных идиотов, как Генрих Ягода (он был убежден, что в социалистическом обществе не нужен спорт, ибо им до революции занимались представители буржуазных классов), даже Сталин был светочем ума.

Что же касается марксистской набожности, ортодоксальности Зиновьева и Каменева, то и это, наверное, миф. По крайней мере, исследуя этот вопрос, исследуя причины сверхлеvizны Зиновьева и Каменева, надо допускать, что этой левизной могло и не быть. Чем же, в конце концов, мотивирована деятельность и активность руководства партии в это время, в первой половине двадцатых? Борис

Бажанов ответил так: «Став секретарем Политбюро, я наконец получил возможность иметь нужный ответ. Эти несколько людей, которые всем правили, которые вчера сделали революцию и сегодня ее продолжают, для чего и как они ее сделали и делают? В течение года я с чрезвычайной тщательностью наблюдал и анализировал мотивы их деятельности, их цели и методы. У власти и в борьбе за власть были две . . . группы, группа — Зиновьева и Каменева, другая — Сталина—Молотова. Для них коммунизм был методом. Оправдав себя методом завоевания власти и вполне продолжающим оправдывать себя методом властвования. Зиновьевы и Каменевы были практиками пользования властью; ничего нового не изобретая, они старались продолжать ленинские способы. Сталины и Молотовы стояли во главе аппаратчиков, постепенно захватывавших власть, чтобы ею пользоваться; как принято теперь говорить, группы «бюрократического перерождения» и «вырождения» партии. Для обеих групп, представлявших настоящее и будущее партии и власти, вопрос о благе народа никак не стоял, и его как-то даже неловко было ставить. Наблюдая их весь день в повседневной работе, я должен был с горечью заключить, что благо народа — последняя их забота. Да и коммунизм для них только удачный метод, который никак нельзя покидать . . .»¹

Недообразованность, политический цинизм «твердокаменных» стали питательной почвой антиинтеллектуализма, трагические последствия которого мы ощущаем до сих пор. Не могли эти люди спокойно, без озлобления воспринимать тех представителей дореволюционной интеллигенции, которые одним своим существованием, своей квалификацией, культурой мышления напоминали им о том, чего у них нет. «Мы просим товарищей, которые слишком часто суются к нам со словом «некомпетентны», чтобы они забыли это слово», — заявлял Г. Зиновьев. Е. А. Преображенский утверждал, что, стремясь к обеспечению профессиональ-

¹ «Через полтора года, — пишет Б. Бажанов, — когда Сталин отстранил Зиновьева и Каменева от власти, — Зиновьев, напоминая это заседание Пленума и как ему и Каменеву удалось спасти Сталина от падения в политическое небытие, с горечью сказал: «Знает ли товарищ Сталин, что такое благодарности?» Товарищ Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Ну как же, знаю, очень хорошо знаю, это такая собачья болезнь» («Огонек», 1989, № 40, с. 26).

¹ Бажанов Б. Кремль, 20-е годы. — «Огонек», 1989, № 40, с. 26.

ной компетентности в ведении дел, Л. Б. Красин бросает вызов политическому руководству партии в лице Г. Е. Зиновьева.

Конечно, окончивший одесское реальное училище Л. Д. Троцкий или самоучка Г. Е. Зиновьев стояли в культурном отношении значительно выше, чем многие нынешние доктора философских наук, имеющие за плечами университет и аспирантуру. Некоторые из «твердокаменных» в совершенстве владели иностранными языками, умением четко формулировать свои мысли (к примеру, Л. Б. Каменев), интеллектуальными достоинствами, которыми, к сожалению, не обладают многие наши современники, называющие себя интеллигентами, доктора философских, исторических или экономических наук. Интеллигенция, сформировавшаяся в условиях культурной пустыни (запуганная осведомителями ГПУ, НКВД и т. д.), образовавшейся в результате внедрения классового подхода в общественные науки, отлучения от завоеваний своей национальной культуры, от современной немарксистской социальной мысли, от истории своей страны, партии, к которой она принадлежит, лишенная права на сомнение, не может считаться полноценной. И тут не о чем спорить. Одним из чудес перестройки как раз и является произрастание цветов свободомыслия в этой пустыне после редкого дождя демократии.

Но ведь об интеллектуальных достоинствах «твердокаменных» надо судить не на фоне той культурной пустыни, появлению которой они во многом способствовали, а на фоне современной, доступной им интеллектуальной культуры. Даже, как нам казалось, высочайший эрудит, литератор А. В. Луначарский, умеющий говорить безумолку два часа кряду на любую тему, блекнет при сравнении с познаниями в области мировой культуры того же Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве. Дело даже не в уровне познаний, не в эрудиции. Масштаб мышления, глубина анализа, мудрость, отличающие до-революционную русскую интеллигенцию, были недостижимы для самых одаренных «твердокаменных». Это и понятно. Они были политиками, профессиональными революционерами. У них не было ни времени, ни внут-

ренних стимулов к систематической научной работе.

Так что, повторяю, не обладали «твердокаменные» теми качествами, которые могли бы гарантировать устойчивость нашего политического развития, позволяли во всех случаях находить оптимальные экономические и социальные решения. Приход к власти ленинской гвардии оказался катастрофой для интеллектуальной, духовной жизни российского государства.

КЛАССОВОЕ СОЗНАНИЕ ИЛИ КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ!

Выход, конечно, был. Он существует всегда. Нас в то время, в начале двадцатых, могла спасти политика национального согласия, примирения национальной интеллигенции во имя спасения измученной, разрушенной России. Но ведь «твердокаменные» все без исключения были противниками такой уступки.

Наша трагедия состояла в том, что даже того чистого пролетарского сознания, в котором черпает свой исторический оптимизм автор статьи «Перелом» О. Лацис, в сущности у нас было очень мало. Правда, как мне кажется, сама мысль о возможности какого-то особенного, кристально чистого пролетарского сознания — это такой же интеллигентский миф, как и миф об исключительной интеллигентности и духовной развитости «твердокаменных». Ведь хорошо известно, что наиболее квалифицированная, образованная и потому обеспеченная часть пролетариата не может приобрести чистое революционное сознание, ибо она как черт ладана боится насильственной революции. Не случайно же — об этом часто упоминал сам Ленин — наиболее дельная, образованная, квалифицированная часть трудящихся идет за меньшевиками, вместо революции предпочитает «буржуазную», «торгашескую» кооперацию. Что же касается бедствующей, неквалифицированной части пролетариата, то она никогда не может дорасти до чистого пролетарского сознания, ибо ей не хватает для этого культуры, знаний. Трудно говорить об исторической достоверности того, что пишет о Ленине и о большевиках А. И. Солженицын в своем

повествовании «Красное колесо». Но то, что он говорит о большевистской стратегии и тактике провоцирования революционных настроений среди рабочих, о политике прокламаций, листовок, списано с жизни, с работ В. И. Ленина. Вся эта методика возбуждения конфликтных ситуаций, так называемых «драк», «прямых физических столкновений с властью» была прежде всего рассчитана на наименее квалифицированную, наименее оплачиваемую, а потому наиболее недовольную часть рабочего класса. Что же касается верхушки рабочего класса, то она, действительно, и в России предпочитала богато, нормально жить, избегать столкновений с властью. В Одессе еще в 1901—1902 годах вход в обжорку стоил гривенник, там были десятки мясных блюд.

Революционеры типа деятеля революции 1905 года Парвуса, превратившие борьбу с самодержавием в выгодную коммерцию, делали всегда ставку на рабочих, лишенных здравого смысла. Их союзниками всегда были люди, лишенные способности думать. «Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать **рабочее правительство!** Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения, — пишет А. И. Солженицын, — перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и просто! И он возражал Парвусу во «Вперед», что лозунг — опасный, несвоевременный, нужно — в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули ее женеvской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неорганизовано, и пролетариату не остается ничего другого, как принять руководство революцией. . . . (Ленин) писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и еще раз энергия! о бомбах полгода болтаете — ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый, кто как может — кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! . . . А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто объявили

и собрали новую форму правления: Совет рабочих депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство! — и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных — а все захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем — Троцкий, а изобретатель Совета управлял из тени»¹.

По крайней мере для меня ясно, что наше первое место в мире по умению делать революции никак не свидетельствует о сознательности русского пролетариата. Если, конечно, не отождествлять сознательность с ненавистью. У нас в России просто не было особой опасности растворения чистого пролетарского сознания нечистым крестьянским, мелкобуржуазным, о котором вслед за Л. Троцким пишет О. Лацис, ибо первого, кристально пролетарского сознания никогда у нас не было в заметных количествах.

Отто Лацис настаивает на том, что петроградские рабочие-коммунисты начала двадцатых годов обладали особым иммунитетом против всякого рода левизны, что они бы сами, добровольно никогда не поддержали левацкую платформу Г. Зиновьева. «Это самый передовой, самый пролетарский отряд партии, наименее подверженный мелкобуржуазному влиянию»².

Но непонятно, откуда мог взяться этот чистый пролетариат Ленинграда в 1925 году, если его уже не было в Петрограде 1917 года, то есть до того, как началась гражданская война.

Парадокс нашей нынешней публицистики состоит в том, что, как правило, авторы — журналисты по образованию, которым сам бог велел мыслить конкретно, видеть за понятиями живых людей, действующих в конкретных обстоятельствах, вместо этого предпочитают игру в социально-философские категории, надеясь, что таким образом они быстрее приблизятся к тайнам нашей социалистической истории.

¹ Солженицын А. Красное колесо. Узел 11. Октябрь шестнадцатого, УМСА — Press, 1984, с. 169—171.

² Там же, с. 155.

Когда читаешь эти наскучившие всем еще со времен левых оппозиций рассуждения о борьбе и непримиримости «чистого» промышленного пролетариата с «нечистой», «мещанской» мелкой буржуазией, то так и хочется сказать: «Люди, всёмните о совести». Вспомните о том, где и как произошла наша революция, о тех несчастных жителях лагун на Выборгской стороне, все существование которых рождало прежде всего ненависть, злобу и жажду мести. Вспомните о тех муках и страданиях, от которых зверем выла трудящаяся масса накануне Октября. Разве могло быть в душе этих озлобленных от нищеты и унижений, полуголодных, измученных людей много места для сознания ответственности за свои поступки, поведение, а тем более для сознания и понимания исторического смысла драматических последствий совершаемого ими переворота? Побойтесь бога. «Не однажды, — вспоминал А. М. Горький, — приходилось мне на ночных митингах Петроградской стороны слышать и противопоставления большевизма социализму, и нападки на интеллигенцию, и много других столь же нелепых и вредных мнений. Это — в центре революции, где идеи заостряются до последней возможности, откуда они текут по всей темной, малограмотной стране¹. И это писал Горький, который сочувствовал судьбе пролетариата, поддерживал его, но который не мог спокойно созерцать, когда, по его словам, «известная часть рабочей массы, возбужденная обезумевшими владыками ее воли, проявляет дух и приемы касты, действуя насильем и террором, — тем насильем, против которого так мужественно и длительно боролись ее лучшие вожди»².

Сталину, повторяем, в сущности и не надо было растворять белую потемневшую рабочую кость нечистой крестьянской массой. Это произошло в Петрограде и в Москве еще во время первой мировой войны. «Окопная война, — писал тот же Горький, — истребила десятки тысяч лучших рабочих, заменив их у станков людьми, которые шли работать «на оборону»

для того, чтобы избежать воинской повинности. Все это, по мнению пролетарского писателя, были люди, чуждые пролетарской психологии, политически неразвитые, бессознательные и лишенные какого-либо тяготения к творчеству новой культуры, — они озабочены только мещанским желанием устроить свое личное благополучие, как можно скорее и во что бы то ни стало. Это люди, органически неспособные принять и воплотить в жизнь идеи чистого социализма. Есть заводы, на которых рабочие начинают растаскивать и продавать медные части машин, есть очень много фактов, которые свидетельствуют о самой дикой анархии среди рабочей массы»¹.

Я думаю, М. Горький не мог себе позволить клевету на рабочий класс Петрограда. Если бы это было клеветой, если бы сознание петербургского пролетариата достигло перед революцией тех высот социальной устойчивости, о которых пишет в своих статьях О. Лацис, то, наверное, новой Советской власти не пришлось бы прибегать к тем драконовским методам принуждения его к труду, на которые она была вынуждена пойти сразу же после Октября. Не забывайте, что Ленин сразу же после революции, столкнувшись с массовым сопротивлением со стороны рабочих новым порядкам, вынужден был разрабатывать целую систему мер принуждения их к труду.

Не строил, как известно, особых иллюзий по поводу российского рабочего класса и чистоты его пролетарского сознания и Николай Бухарин. Он во время гражданской войны вообще мало рассчитывал на тот рабочий класс, который есть, связывал свои коммунистические надежды прежде всего с тем рабочим классом, который должен быть. Что же касается тех рабочих, кому судьба уготовила роль первопроходцев коммунизма, то они, как полагал Н. И. Бухарин, должны принять как должное насильственное принуждение к труду.

Повторяю. Никто не должен мешать человеку верить в то, во что он привык верить. Можно даже верить в то, что питерские большевики

¹ Солженицын А. Красное колесо. Узел II. Октябрь шестнадцатого, 1984, с. 48.

² Там же, с. 67.

¹ Солженицын А. Красное колесо. Узел II. Октябрь шестнадцатого, 1984, с. 92.

времен Октября и гражданской войны были святыми от чистого пролетарского сознания, все силы своей души тратили на то, чтобы устоять перед соблазном левизны, революционного нетерпения и максимализма, возмездия или грабежа награбленного. Но, на наш взгляд, миф, которым живет твоя душа, нельзя навязывать другой душе. Да, это были мужественные и смелые люди, преданные революции, готовые каждую минуту умереть за нее. Но все же и они позволяли себе, что позволяли другие, и они активно, а иногда с воодушевлением участвовали в разжигании пожара гражданской войны. Разве они упустили возможность расправиться с ненавистой им буржуазией Петрограда, упустили возможность на убийство Володарского ответить убийством тысячи «бывших»? Нет, не упустили. Они поступили так, как грозил буржуазии газета «Правда», которая в то грозное время заявляла: «За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии».

Сегодня, к сожалению, уже не осталось тех белых пятен нашей послеоктябрьской истории, которыми можно было бы действительно успокоить душу. Н. И. Бухарин, один из вождей Октября, которые противостояли после смерти Ленина генеральному секретарю, действительно больше всего делал для того, чтобы противостоять левизне. Но в двадцатые годы, как большевик, тем не менее видел заслугу своей партии в том, что она во всем пошла за революционными массами. «Дело было решено, — писал в 1925 году в статье «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» Н. И. Бухарин, — совместными и необычайно дружными действиями рабочих и солдат, солдат, которые были плотью от плоти и костью от кости нашего крестьянства. Солдаты хотели мира — и крестьяне хотели мира; крестьяне хотели земли — и солдаты хотели земли; **крестьяне** (выделено мной. — А. Ц.) хотели расправы с помещиками — и солдаты хотели расправы с помещиками. Все эти требования поддерживались, распространялись, становились боевыми лозунгами в руках рабочего класса и его партии»¹.

Не знаю. Кто хочет, тот, конечно, может верить О. Лацису, может верить в то, что два процента партии, то есть большевики со стажем до февраля 1917 года, так называемые «твердокаменные», занявшие все ключевые позиции в партии и государстве, действительно были устойчивы к левацким, разрушительным настроениям революционных масс, действительно сами могли удержать революцию в рамках разума, в рамках достаточной меры. Но я предпочитаю верить Н. И. Бухарину, которому хватило мужества сказать правду, сказать, что «твердокаменные», то есть те, кто, по словам другого вождя нашей революции, «заклял революционную энергию петербургских рабочих и солдат», во имя победы были готовы пойти на все, вплоть до «поддержки» физической расправы со своими бывшими эксплуататорами, вплоть до «поддержки» грабежа награбленного. По крайней мере Н. И. Бухарина нельзя уличить во лжи. Он говорил вслух о той правде, о которой говорили вслух не принимавшие «бешеную пляску Троцкого над развалинами России» Короленко, Горький. Он напомнил о том, что так называемые большевики-интеллигенты, как и большевики-неинтеллигенты, в равной мере и массы, особенно в первые месяцы октябрьского переворота, страдали антиинтеллигентскими настроениями. Разве, когда питерские рабочие настаивали на красном терроре, они не получили поддержку со стороны руководства партии? Как известно, получили. Разве можно доказать, что рабочие России с меньшим энтузиазмом, чем крестьяне, экспроприировали экспроприаторов? А. М. Горький, наблюдавший эту экспроприаторскую вакханалию в Петрограде, пишет о ней слово в слово то, что писал о ней В. Г. Короленко на опыте Полтавской губернии. «Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг: «Грабь награбленное». Грабят — изумительно, артистически; нет сомнения, что об этом процессе самоограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом. Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, — грабят дворцы

¹ Бухарин Н. И. Избранные произведения. Политиздат, 1988, с. 150.

бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать».¹

Сегодня много пишут о «твердокаменных» как о «служителях и подвижниках идеи», сохраняющих ей верность до конца жизни, во всех условиях.

Оставим в стороне фактическую сторону вопроса, хотя нетрудно доказать, что Сталин не меньше, а больше, чем другие, к примеру, чем позднее Бухарин, верил в возможность коммунизма, всемирной пролетарской революции. Если бы он в это не верил, он бы не отбирал в 1946 и 1947 годах у опухших от голода крестьянских детей зерно и не вез бы его в более сытые страны, скажем, в Чехословакию. Как только появилась у Сталина возможность содействовать мировой революции, наступлению на капитал в мировом масштабе, он ею незамедлительно воспользовался. Я думаю, будь на месте Сталина после войны Троцкий или Радек, Каменев или Зиновьев, они не смогли бы сделать столько для расширения плацдарма мировой пролетарской революции, с которой они связали свою жизнь, сколько сделал он. У нас нет никаких оснований утверждать, что Сталин, в отличие от всех других вождей Октября, изменил идее мировой революции, ее принципам и идеалам. Как теперь становится ясно, принципы достижения «великих целей» были изобретены задолго до него.

¹ Горький М. Несвоевременные мысли, с. 82.

Иногда принято считать, что, навязывая социализм странам Восточной Европы, Сталин заботился не столько о судьбе мирового социализма, сколько о традиционных имперских традициях России, об укреплении ее предбрюшья. Но этот тезис, на мой взгляд, можно оспорить. Ведь укрепить предбрюшье России в тех условиях, после победы во второй мировой войне, можно было другими способами, ведь пошел же он на финский вариант и мог оставить войска на территории Чехословакии, Венгрии, Польши, не посягая на существующий там общественный строй, как это сделали американцы в Европе. Но он избрал именно путь распространения социализма, путь коммунистической экспансии, жертвуя, как уже тогда было ясно, стратегическими интересами России. Коммунизм был доминантой его сознания, самым внушительным способом реализации его честолюбия.

Но сейчас вопрос не о том, был ли Сталин подвижником и служителем идеи или не был, был ли он искренним в своем убеждении, что насилие и расстрелы являются подходящим средством для воплощения в жизнь идеи бесклассового общества, или он прибегал к расстрелам просто так, из-за своего природного злодейства. Более важно выяснить, насколько подвижническая верность идее, в данном случае идее мировой революции, готовность во имя этой идеи идти на все, является признаком высокой нравственности, духовной развитости.

Окончание следует

«НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА»

О МИРНОМ ДОГОВОРЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЛАТВИЕЙ И ПЕРВЫХ УСИЛИЯХ БОЛЬШЕВИКОВ ПОДОРВАТЬ СОСЕДНЕЕ НЕЗАВИСИМОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Это будет рассказ о шпионах. А может быть, и не о шпионах вовсе. Во-первых, это, конечно же, разведчики, доблестные разведчики; во-вторых, наш рассказ не столько о них, сколько о том, что значили уже на заре советской власти для руководителей первого в мире социалистического государства такие понятия, как дипломатическое соглашение, верность международным обязательствам, международное право.

70 лет назад, 11 августа 1920 года, в Риге был подписан мирный договор между Советской Россией и Латвией. В этой связи министр иностранных дел Латвии Зигфрид Анна Мейеровиц устроил банкет в одном из лучших рижских кафе «Отто Шварц». Раут обошелся в 71 730 рублей. Действительно, было чему радоваться. Во 2-й статье договора говорилось: Россия признает «безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле...» Мало кто тогда представлял, что в большевистском словаре «вечность» означает нечто иное, чем в словаре Даля.

9 сентября Советская Россия ратифицировала договор. В конце месяца в Латвию отбыл первый посол Советов Яков Станиславович Ганецкий (Фюрстенберг), видный деятель компартии (партстаж с 1896 года). И о ужас, латышские пограничники основательно посла обсыкали. Весьма неприятное начало дипломатической деятельности крупного большевика. Видимо, пограничники проявили са-

мовольство? Но не будем спешить с выводами, а мысленно перенесемся на пару месяцев назад...

15 июля в Ригу приехала советская мирная делегация во главе с Адольфом Абрамовичем Иоффе. В ее составе, фактически на правах заместителя Иоффе, был и Ганецкий. Гости поселились в отеле «Петерпилс» (б. Петербургская гостиница). И начались малозначительные с виду, но любопытные странности. Персонал, обслуживавший делегацию, находился на службе латвийского МИДа, однако комендант отеля, латыш, установил, что восемь человек obsługi получили от русских некое особое вознаграждение — от 600 до 2000 рублей. 4 августа комендант известил о своих подозрениях главу латвийской делегации на мирных переговорах Яниса Весманиса. Возник вопрос — за что плачены денежки?

В конце июля в Риге были арестованы председатель миссии Красного Креста Украины Семен Мазуренко и его секретарша Надежда Раевская. При них были найдены 4 миллиона австрийских крон и сверх того — документ, свидетельствующий о том, что ранее миссия ввезла в Латвию 10 миллионов крон, предназначенных на цели антиправительственной пропаганды и прочей подрывной деятельности. Из Риги С. Мазуренко намеревался отправиться в Западную Европу. Но все это были цветочки в сравнении с ягодками, которые выращивал в Риге известный «красный финансист» Ганецкий.

Длительная война и чужеземная оккупация оставили в Латвии тяжелые последствия. Финансы молодой

республики были вконец расстроены. Правительство вело энергичную борьбу с валютными спекулянтами и финансовыми махинациями. В 1919 году Латвия выпустила 50-рублевую купюру, год спустя — купюру в 500 рублей. В России сразу же появились аналогичные фальшивые дензнаки, причем подделка была настолько искусная, что Латвийское правительство было вынуждено пятидесятирублевые банкноты изъять из обращения, а пятисотрублевые печатать на бумаге с иными водяными знаками — министерство финансов надеялось таким образом воспрепятствовать распространению поддельных денег. Бумагу закупили в Англии (запомним это обстоятельство, оно нам еще пригодится впоследствии).

14 сентября начальник отдела внутренней разведки штаба Латвийской армии капитан В. Бекорс доносит по начальству: «Трудно всего следить за действиями врагов Латвии на бирже, где путем игры на понижение (курса) валюты государству наносится большой ущерб. Непродолжительное внезапное снижение (курса) валюты ставится в связь с деятельностью Ганецкого-Фюрстенберга во время мирных переговоров». Близкий соратник Ленина, один из организаторов его возвращения в Россию в 1917 году, Я. С. Ганецкий и впрямь не был новичком в финансовых аферах и махинациях. Так что подозрительность латышских пограничников была вполне уместной.

Кстати, выдающийся латышский график-виртуоз Рихардс Заринш, с 1899 по 1919 год служивший в Петербурге-Петрограде, в Экспедиции заготовления государственных бумаг (с 1905 г. он был ее художественным и техническим руководителем, автором рисунков на многих денежных знаках), так писал о своей работе в северной русской столице после Октября: «Менее приятно вспоминать о тех напрасных попытках, к которым прибегали большевики... для того чтобы заставить меня осуществить подделку эстонского займа свободы, австрийских крон и восточных денег (образованного в 1918 г. немцами «Прибалтийского государства». — А. С.) не суррогатно, а всеми подлинными техническими средствами. И кто знает, не поступают ли те восточные денежные знаки достоинством 20 ма-

рок, которые в настоящее время циркулируют в Курземе (область Латвии. — А. С.), из Москвы. Там же были изготовлены фальшивые деньги нынешней Украины» (журнал «Экономист» от 15 ноября 1920 г.).

Прошел всего месяц с тех пор, как посольство Советской России обосновалось в Риге, а начальник Политической охраны (тайной полиции) Латвии В. Алпс уже пришел к выводу о том, что «агентуре следует уделять особое внимание русскому посольству, которое пытается установить связь с местными секретными организациями коммунистической партии и их сотрудниками...» (документ от 30 октября 1920 г.). И неудивительно: московское посольство быстро организовалось в значительный центр шпионажа и подрывной деятельности против демократической Латвии.

Чтобы лучше представить себе «двойное дно» посольства Советской России в Риге, посмотрим сначала, в чем заключались неофициальные функции его близнеца в Берлине. Германская столица превратилась в те годы в один из крупнейших центров подрывной деятельности большевиков в Европе. В нашем распоряжении имеются сведения за 1923 год. При посольстве СССР в Берлине существовали:

1) отдел ГПУ. Он собирал сведения и вел слежку за антибольшевистски настроенными эмигрантами (в ту пору Берлин был средоточием российской эмиграции, здесь обосновались сотни тысяч беженцев из России) и вообще за лицами, находившимися на подозрении у чекистов;

2) секретный отдел разведки; состоявшие при нем тайные агенты собирали информацию в первую очередь о Германии (но не только о ней) — ее внутренней жизни, решениях и постановлениях правительства, о германских планах и замыслах;

3) отдел коммунистической пропаганды, скрывавшийся под вывеской представительства всероссийских профсоюзов;

4) зарубежная делегация РКП(б);

5) представители исполнительного комитета III Интернационала, в задачу которых входила организация антигосударственных путей (секретные службы, по-видимому, обоснованно полагали, что подрывной деятельностью Коминтерна за рубежом

руководит специальный комитет во главе с К. Радеком*, куда в 1923 г. входили Я. Анвельт, Бергманис, О. Куусинен, Ю. Сирола, Ф. Кон, С. Домский, Я. Крейцман, И. Баудас). В 1923 году СССР уделял огромное внимание подготовке коммунистического путча в Германии, в страну были нелегально засланы Ян Карлович (Павел Иванович) Берзин (Петерис Кюзис), Екаб (Яков Христофорович) Петерс, Волдемарс Розе и др.;

6) финотдел Коминтерна;

7) отдел финансирования лояльной Советскому правительству печати;

8) отдел подготовки коммунистической литературы для Ближнего Востока;

9) отдел Интернационального союза железнодорожников.

Секретные сотрудники в основном числились на службе в советском торгпредстве, это давало им возможность легально перемещаться по стране и облегчало незаконную деятельность.

Модель, пожалуй, ясна. Однако Латвия — это, конечно, не Германия. И объем работы меньше, и структура служб проще, да и размах не тот. Но все же...

Здесь, в Риге, при посольстве существовали три отдела: ГПУ, разведывательный (шпионажа), коммунистической пропаганды и руководства компартией Латвии. Первые два тесно взаимодействовали между собой, руководил ими — до начала 1923 года — кассир посольства Ян Соирю (Мартиньш Зелтиньш). Видным «дирижером» тайного «оркестра» был и второй секретарь посольства в 1921—1922 годах и некоторое время — помощник военного атташе — человек по фамилии Виксне, Андрейс. Шпионской деятельностью по крайней мере до 1924 года, руко-

водило в основном Главное разведывательное управление Генштаба Красной Армии (разведупр), которое до конца 1924 года возглавлял латыш Арвид Зейбот. Упор делался на военную разведку.

Уже со второй половины 1919 года при ЦК Компартии Латвии имелся отдел секретных поручений, работавший под контролем секретных служб Советской России. С 1 марта 1920 года отдел перешел под крышу Загранбюро КПЛ в Пскове. К лету, когда российско-латвийские переговоры шли полным ходом, в штате этого отдела, руководимого членом Загранбюро Карлом Каулинем, трудилось 212 человек, из них в самом аппарате только 34, остальные были тайными агентами. Бюджет отдела с 1 июля по 31 декабря 1920 года составил 8 729 400 рублей; все расходы по засылке в Латвию агентов и курьеров в этот период (357 000 руб.) покрыл отдел разведки штаба Петроградского военного округа (общая сумма этого «вспомоществования» достигла 3 645 300 рублей). «Секретные порученцы» компартии работали рука об руку с особыми отделами дислоцированных в латвийском приграничье 15-й армии и 48-й дивизии Советской России.

Открытие «красных» представительства в Риге раскрутило жернова шпионажа. На 1 июля 1922 года в них числилось 280 человек, можно было вершить большие дела. Яну Соирю удалось раздобыть крайне важные материалы Варшавской конференции министров иностранных дел Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши (13—17 марта 1922 г.). В том же, 1922 году удалось завербовать высокопоставленного сотрудника государственного контроля Латвии Алфредса Витолса, который поставлял особо ценную информацию об армии своей родины, получая от 25 до 40 тысяч рублей за документ. Документы военного министерства Латвии оказывались в руках секретаря посольства А. Семашко (3 мая 1924 г. спецслужбы Латвии сообщили, что Семашко, кстати известный взяточник, сбежал за границу с крупной суммой денег). В начале 1923 года Я. Соирю провалился. 9 января его арестовали в отдельном кабинете рижского ресторана «Мариенбад». Спустя какое-то время, 13 апреля, литвийская служба

* Карл Бернгардович Радек, живший в Советской России с 1917 г., а до того бывший деятелем социал-демократического движения в Польше и Германии, располагал в последней стране широкой агентурой. По сведениям на 9 марта 1925 г., его ближайшими агентами в Берлине были некий доктор Фукс, прежде анархист (Zehelendorf Mitte, Carl h. 14), его помощник Курт Розенфельд (Berlin, Spandauer Brücke, 1a), являвшийся также доверенным лицом А. А. Нейфа, везшая Раиса Юрс, перешедшая на службу к большевикам князь В. М. голандский, сотрудник советского посольства С. Александровский и много других.

безопасности отмечала: «В связи с провалом Соирио и его непрактичностью в шпионаже и особенно в армейских делах в доме торговца Советской России, на улице Альберта, 11, организована особая коллегия по военным делам, состоящая из 3 членов. Главным сотрудником коллегии — некто Зариньш. Коллегия интересуется в основном дислокацией армии, мобилизационными планами и техническим бюджетом». После провала Соирио большую роль в шпионаже стало играть ОГПУ.

Советские представительства в Риге — дипломатическое и торговое — проявляли громадную активность в руководстве и финансировании нелегальной компартии Латвии. Хотя еще в тексте соглашения о перемирии между Латвией и Россией, подписанного 30 января 1920 года, имелась 10-я статья, которой предусматривалось, что «обе договаривающиеся стороны обязуются не допускать образования и пребывания на своих территориях каких бы то ни было организаций или групп, именующих себя или претендующих на роль правительства . . . другой договаривающейся стороны»; к тому же статья 22-я гласила, что «правительство Советской России отказывается от всякой пропаганды и поддержки ее на территории Латвии против ее правительства, политического и социального строя». Для Москвы это был не более чем клочок бумаги. Загранбюро КПЛ в России, и в первую очередь его отдел секретных поручений как раз и представляли собой те организации, что ставили своей целью уничтожение демократического Латвийского государства. Организации, находившиеся в содержании Коминтерна и советских секретных служб. Надо ли удивляться, что 31 мая 1920 года Загранбюро КПЛ выразило неудовольствие этими статьями соглашения. Недопоняло оно чего-то — Советы вовсе и не собирались соблюдать указанные пункты. В ходе мирных переговоров Латвия пыталась добиться включения упомянутой 22-й статьи и в мирный договор, другая сторона энергично этому противилась. 1 августа А. Иоффе сообщил, что его делегация отклоняет данное требование, так как Россия и не собирается развертывать такого рода деятельность. Никогда! (Знакомый мотив, не правда ли? — Прим. ред.)

Добиться своего Латвии не удалось, но зато 10-я статья соглашения о перемирии была отражена в 4-й статье мирного договора в еще более пространной и категорической формулировке. Впрочем, Совдепию это мало волновало. Щедрое финансирование и активное руководство деятельностью нелегальной КПЛ являлось нарушением договора, на котором еще и чернила не успели высохнуть.

Уже в ноябре 1920 года сотрудник представительства Советской России Роберт Андреевич Пельше при посредничестве Яниса Шкенсберга наладил контакты с секретарем ЦК КПЛ Яном Шилфом (партийным псевдоним Яунзем). Из Москвы диппочтой Шилфу-Яунзему доставлялась коммунистическая литература. Очень удобный канал доставки — под защитой права дипломатической неприкосновенности. Нередко коммунисты получали посылки с литературой прямо в здании советского представительства, на улице Элизабетес, 3. В январе 1921 года латвийская служба безопасности, которая вела наблюдение за советским посольством, заключает: «В посольство России, специально в агитационно-пропагандистских и шпионских целях, находят пристанище не только присланные из Сов. России сотрудники, но и местные активисты компартии Латвии, которым выдаются русские дипломатические паспорта, чем достигается их неприкосновенность».

В апреле 1921 года произошел первый дипломатический инцидент, связанный с антигосударственной деятельностью советского представительства в Латвии. Накануне, 26 февраля, Латвия и Советская Россия подписали договор о транзите. И вот 29 апреля посол Я. Ганецкий заявил, что Россия применит к Латвии санкции, прекратив поставку части транзитных грузов через Латвию, а направив их через Эстонию. Причина — задержание в Риге советских сотрудников. Я. Ганецкий писал З. Мейеровицу: «. . . кассира Полномочного представительства, вносившего в банк деньги для здешней фирмы за купленные в Риге товары, чины политической разведки задержали в банке, усиленно допрашивали, за что и для чего вносятся деньги». Подозрительность соответствующих латвийских учреждений объяснялась очень про-

сто — по самым разным каналам советские представители финансировали антигосударственную деятельность коммунистов. 13 мая было арестовано руководство нелегального ЦК КПЛ. И что же? У Я. Шкенсбергса, бывшего одновременно сотрудником советского посольства и функционером КПЛ, нашли 128 000 рублей.

Особую пруть в «управлении» местной компартией проявляло советское торгпредство в Риге (на 24 декабря 1924 г. в нем работало уже около двухсот человек). На этом поприще подвизался, среди прочих, счетовод представительства Карлис Лапиньш («Карлиса»). Еще в 1921 года он активно работал в 3-м районе Рижской организации КПЛ, поддерживал связь с ЦК. Ближайшими сотрудниками К. Лапиньша были его жена Луиза и торгпредский чиновник по особым поручениям А. Маршанс. В августе 1922 года латвийская полиция арестовала целый ряд коммунистов, уличенных в контактах с советскими учреждениями. Опасаясь задержания, А. Маршанс 10 августа покинул Ригу. В свою очередь чета Лапиньшей перебралась из своего жилища на улице Ревелес (дом 71, кв. 33) в здание торгпредства на Альберта, 11, где супруги пользовались правом экстерриториальности. Из своего укрытия они, однако, продолжали руководить компартией, пытаясь возобновить деятельность потрепанной арестами организации. 16 сентября политическая полиция констатировала, что коммунисты, работающие в представительстве, «ныне играют заметную роль в возобновлении деятельности всей партии». Чтобы арестовать «Карлиса», надо было выманить его с территории представительства, но сделать это все никак не удавалось. Начиная с 9 ноября полиция денно и нощно не спускала глаз с дома на улице Альберта. Видимо, со временем бдительность Лапиньша притупилась, 15 ноября они с женой вышли на улицу прогуляться, и тотчас были схвачены полицией.

Москва, однако, не унималась. В 1922 году из советской столицы в Ригу приезжает Эйжен (Элия) Данилер, до того «зареккомендовавший» себя в Германии. Ему сочинили фиктивную должность секретаря транспортного отдела «Внешторга». На деле он вместе со своим помощником

Л. Мильнером поддерживал связь с КПЛ. В 1921—1923 годах видную роль в руководстве нелегальными организациями играл ближайший сподручный Я. Соирю — Г. Лебедев, заведующий транспортным отделом «Внешторга» (10 мая 1923 г. он уехал из Риги, получив перевод в Финляндию).

7 августа 1922 года в Рижской Центральной тюрьме был повешен 26-летний Мартиныш Чуче (он же Пуриньш, он же А. Упмалис) — шпион коммунистов и террорист-убийца. 10 августа в Москве, в половине одиннадцатого вечера, толпа (около 300 человек) хлынула с Чистопрудного бульвара к зданию латвийского представительства. Раздавались возгласы: «Смерть представителю правительства в этих стенах!», «Недалек тот момент, когда Российское правительство уже более не будет вас охранять в этом доме и мы с вами расчищаемся кровью!» Затем, как явствует из письма посла Латвии Э. Фелдманиса члену коллегии Наркоминдела России Я. Ганецкому, толпа «стала кидать принесенные с собой булыжники в окна нижнего этажа здания дипломатической миссии и разбила зеркальные стекла четырех окон». Э. Фелдманис указывал: «Никаких мер к предупреждению и пресечению демонстрации со стороны наружной полиции предпринято не было, невзирая на то, что толпа продвигалась по оживленной части города и уже своей численностью, пением и флагом должна была обратиться на себя внимание . . .» 17 августа в отпущенном послании Э. Фелдманису Я. Ганецкий, выразив формальное сожаление о случившемся, позволил себе сострить: «Шествие демонстраций с пением и флагами в России не запрещено, а потому не могло специально обратить внимание постов милиции . . .» Черный юмор: вся жизнь в Москве 1922 года находилась под контролем ГПУ, процессы против инакомыслящих следовали один за другим. Советскому правительству стоило только захотеть, и никакого нападения на латвийское представительство не было бы.

13 августа газета латышских коммунистов «Кривияс циня» поместила отчет с митинга московского латышского коммунистического клуба, состоявшегося 10 августа. На митинге

выступил Ото Карклин, бывший в 1919 году заместителем председателя правительства Советской Латвии Петериса (Петра Ивановича) Стучки. О. Карклин, согласно газетному отчету, заявил буквально следующее: «Мы боремся и будем бороться за уничтожение теперешней Латвии, и наступит время, когда убийцам рабочих придется отвечать за свою ужасающую деятельность». 24 августа посол Э. Фелдманис направил ноту временно исполняющему обязанности народного комиссара по иностранным делам Льву Михайловичу Карахану (Караханяну). В ноте вполне обоснованно указывалось: «Из изложенного несомненно явствует, что на территории России, и притом в ее столице, существует организация, поставившая себе целью не только низвергнуть существующее латвийское правительство, но уничтожить самое латвийское государство с современным его государственным строем». Э. Фелдманис квалифицировал это как грубое нарушение мирного договора от 11 августа 1920 года и потребовал закрыть вышеупомянутый коммунистический клуб, «с неслыханной дерзостью, открыто, в лице одного из своих участников и представителей заявляющий о своих разрушительных намерениях по отношению к дружественной России Латвийской Республике...». В ответной ноте от 22 сентября Я. Ганецкий заявлял: «Я вынужден выразить крайнее изумление по поводу подобного требования. Латвийское правительство, которое на своей территории допускало и содействовало вербовке в армию Врангеля, которое — как это точно установлено подлинными документами из архива Керенского — оказывало помощь так называемому административному центру и допускало, дабы Латвия служила плацдармом в деле организации Кронштадтского мятежа, которое потворствует публикации всяких злостных и преступных клевет против России и Российского правительства, доходящих даже до низкого обвинения последнего в распространении фальшивых денег...» (Опять знакомый мотив: когда нечего сказать по существу, громоздятся беспардонная ложь, в своем роде замечателен и пассаж насчет фальшивых денег. — Прим. ред.). Эти обвинения были насквозь

лживыми. В декабре 1920 года в Латвии действительно была раскрыта агентура Врангеля, однако ее руководители — генералы Шнабель и Малавин, а также полковник Сергеев были высланы из страны. Деятельность монархистов в Латвии решительно подавлялась как в начале двадцатых годов, так и впоследствии. С 1921 года по август 1932 года из Латвии было выслано более 100 эмигрантов-монархистов, в том числе братья Александр и Теодор Фехнеры — представители великого князя Кирилла Владимировича. 26 мая 1929 года было прекращено издание большой газеты «Слово» (выходила с 11 ноября 1925 г.) — ее направление власти сочли монархическим. Что касается «поддержки» Латвией Кронштадтского мятежа, то эти бредни фабриковались агентами отдела секретных поручений Загранбюро КПЛ. Так, 28 апреля 1921 года было получено донесение одного из этих агентов: «Во время Кронштадтского мятежа в Латвии было подготовлено войско в помощь кронштадтцам (в борьбе) против советской власти. В 13-м Тукумском полку имелся секретный приказ высшего военного начальства Латвии, чтобы в три дня были уволены, демобилизованы все те солдаты, которым предстоит уехать, таких в полку было свыше тысячи человек... Их направляли через Эстонию... они не уехали потому, что как раз в тот день было получено известие о падении Кронштадта». Никакими источниками эти сведения не подтверждались, тем не менее Советская Россия тотчас обвинила военного атташе Латвии полковника Ж. Бахса и секретарей посольства Бр. Криевиньша и А. Томсона во враждебной деятельности, а посла Я. Весманиса — ни больше ни меньше как в предоставлении мятежникам прямого телефонного провода (!). Чистейший абсурд.

Избегая обострения российско-латвийских отношений, правительство Латвии в начале сентября решило прекратить обмен нотами по поводу событий 10 августа.

Предъявление Латвии ложных обвинений служило дымовой завесой для совсем другой деятельности. 3 декабря 1922 года в Москве состоялось секретное совещание Политбюро, на котором начальник развед-

упра Арвид Зейбот предложил оккупировать Эстонию силами двух советских корпусов. В тот день А. Зейбота поддержал один только Иосиф Виссарионович Сталин, но, что называется, все еще было впереди...

Подготовка Советским Союзом в 1923 году коммунистического путча в Германии породила определенные надежды и среди латвийских коммунистов. В феврале 1923 года в Москве собрался VII съезд КПЛ. Выступая на нем, Николай Иванович Бухарин заявил: «Правительство СССР и Коминтерн ведут общую совместную подготовительную работу к всемирной революции и при первой возможности, как только СССР успеет приготовиться в военном и укрепиться в экономическом отношениях... активно выступит против капиталистических стран. Дипломаты СССР не могут этого открыто сказать и должны свою настоящую работу маскировать красивыми и миролюбивыми словами» (sic!).

Активную деятельность развернули советские представители в Риге в канун Первой 1923 года. М. Куле (в 1922 г. она была членом коллегии пропагандистов Рижского комитета КПЛ), подпольщики Рубенис, Осис, нелегально приехавший в Латвию Акотс (Спалва, Зиединьш) получили от советского сотрудника Волгина оружие, кастеты, а Акотс — и 40 тысяч рублей на устройство нелегальной типографии. В апреле 1923 года «Внешторг» в Риге получил из Берлина оружие и нагайки, провезенные контрабандой — в мешках с мукой и с грузом зерна.

10 мая 1923 года в Латвии начал работать Семен Иванович Аралов, который во время гражданской войны в России руководил красноармейской разведкой. Зарубежный латышский историк Эдгарс Андерсон охарактеризовал С. Аралова как романтического большевика, чуткого и тактичного дипломата. Во время пребывания этого «романтика» в Латвии подрывная деятельность обрела широкий размах, в нее включились многие сотрудники посольства. Шофер С. Аралова В. Галковский был связным с коммунистическим подпольем, излюбленным местом его встреч с агентурой были отдельные кабинеты ресторана «Мой герой». Корреспондент посольского пресс-бюро В. Дубинский под-

держивал контакты с еврейской левой, прокоммунистической организацией «Арбетерхейм». Член правления этой организации Ж. Лейтман имела тесную связь с советским посольством.

В 1923 году в Латвии был основан Кооперативный транзитный банк с целью содействия более тесной хозяйственной деятельности между Латвией и СССР. Первоначальный капитал был не очень велик — 500 000 латов, но вполне достаточен, чтобы тайком финансировать через банк коммунистов.

В советском посольстве была усилена деятельность ГПУ. В 20-х годах органам безопасности Латвии еще раз пришлось столкнуться с распространением фальшивых денег советским посольством. Сначала, в 1923 году, появилось некоторое количество поддельных банкнот достоинством 10 латов, выпущенных в обращении годом раньше. Подделку нетрудно было распознать по водяным знакам: у настоящих денег витые золотистые полосы, у фальшивых — светлые линии. Оттиск тоже был грязный и расплывчатый. Так что большой опасности эта фальсификация не представляла. 8 августа 1923 года латвийская тайная полиция установила, что фальшивые деньги распространяются советским посольством. Сумма, пускавшаяся в оборот, была распределена на две части: одна — через агента-кассира — отвозилась в Латвийский банк, где «выдача фальшивых денег производится при очень крупной выдаче из кассы», а другая просачивалась при посредничестве валютных спекулянтов (последние собирались в рижском кафе «Би-Ба-Бо», особенно в его винных погребах). Полиция констатировала, что к 8 августа в советское посольство поступили две посылки с фальшивыми деньгами, которые «ныне изготавлиются на английской клетчатке...» При посольстве существовало так называемое политическое бюро — филиал ГПУ. Осенью 1923 года им руководил Алексей Сорокин, бывший адъютант Буденного, пристально интересовавшийся латвийскими информаторами в России, а также русскими эмигрантами.

Осенью 1923 года, в канун гамбургского «восстания» 23—25 октября, оживилась деятельность латвийских коммунистов. В начале октября со-

стоялась тайная сходка, на которой делопроизводитель коммунистического Центрального бюро профсоюзов Риги Я. Весманис заявил, что в ближайшее время в Германии будет революция, а за нею последует «переворот в Латвии», куда вернется П. Стучка. Политическая полиция отмечала также «деятельную активность в представительстве Советской России, где теперь, как уже сообщалось ранее, организован полноценный отдел ЧК, состоящий из проверенных чекистов. Подмечено, что в послеобеденное время, начиная примерно с 5 часов, на улице Антония, 2, часто проходят совещания, в которых участвуют и представители извне... также и Якобсон (коммунист, секретарь Центрального бюро профсоюзов. — А. С.) принимает участие в этих совещаниях...»

Гамбургский «красный путч» провалился, тайная деятельность продолжалась.

После неудачи в Германии, в 1924 году центр подрывной работы Советов переместился в Прибалтику, особенно в Эстонию. На свержение демократических правительств Советский Союз ассигновал не меньше 1 200 000 червонцев, из них на антилатвийскую деятельность — около 100 000 рублей золотом; гораздо большие суммы были вложены в подготовку путча в Эстонии. Впрочем, не следует думать, что Латвию более-менее оставили в покое.

В марте 1924 года политическое управление обнаружило шпионскую организацию в Латвийской армии — ее создал и финансировал второй секретарь советского посольства Волгин. Активно помогал ему в добычании армейских секретов служащий транспортного отдела советского торгпредства Лев Миллер, державший явку в лавке Зиверта на улице Матиса. 28 мая до Латвии докатились отголоски происшествия в Бухаресте, где агенты Коминтерна (при III Интернационале существовала особая, 5-я секция, в задачу которой входила организация терактов) взорвали военные склады. От взрыва невероятной силы пострадали также королевский дворец и здание парламента, были уничтожены военные материалы, только что присланные из Чехословакии. Польская служба безопасности в свой черед обнаружила, что

готовится взрыв военных складов во Львове и Кракове, а чехословацкая напала на след подготовки к взрыву главных военных заводов страны — «Шкода» и «Шнейдер-Крезон». В Латвии прекрасно понимали, что подобные акции не исключены и здесь. В июне поступил серьезный сигнал из Москвы. Так, латышские коммунисты внесли пожертвования на строительство самолета «Латышский стрелок», предназначенного для советского воздушного флота. 15 июня более 2000 латышско-коммунистов собралось на московском аэродроме им. Троцкого. Бурю восторга вызвало появление самого Льва Давыдовича, который начал свое выступление с лести собравшимся: «Когда в январе 18 года нам пришлось разогнать Учредительное собрание, Ильич сказал: надо вызвать латышский стрелковый полк. Латышские стрелки успешно выполнили доверенное им задание». Еще больший восторг, нежели признание заслуг красных стрелков в разгоне демократически избранного парламента России, вызвали следующие слова наркомвоенмора: «Недалеко то время, когда латышский красный летун (самолет «Латышский стрелок». — А. С.) узрит красный флаг над городом, который я не буду называть по дипломатическим соображениям». Л. Д. Троцкий поддержал председатель Верховного суда РСФСР П. И. Стучка: «По разным причинам я не буду тут выступать пространно, но я надеюсь, что вскоре мне придется приветствовать (экипаж) «Латышского стрелка» в другом месте...» Коммунистическая «Криваяс циня» на первых полосах печатала весьма большие рисунки, где самолет «Латышский стрелок» кружил над Ригой, а brave красноармейцы стреляли в жирных буржуев. Наркоминделу Георгию Васильевичу Чичерину пришлось пояснить латвийскому правительству, что Советский Союз не имеет агрессивных намерений в отношении Латвии. Хотелось бы верить, но — в июле латвийская служба безопасности, проводящая разматывать дело Волгина, арестовала 53 советских агента. Да, советские представители в соседней республике не сидели сложа руки. К тому же 30 июня коммунисты спровоцировали в Латвии забастовку на лесопильнях, а в июле — стачку транспортных

рабочих. Почему «спровоцировали»? Потому что советское посольство в Риге ассигновало на организацию этих забастовок 10 000 червонцев.

Осенью полным ходом шла подготовка к путчу в Эстонии. Вначале он был намечен на 28 октября, но аресты коммунистов притормозили дело. 9 ноября в советском представительстве в Риге состоялся прием в честь 7-й годовщины Октябрьской революции. Пришло 19 человек, среди них 7 представителей прокоммунистических профсоюзов Латвии. Речи, произнесенные на приеме, свидетельствовали о том, что в ближайшее время в Прибалтике ожидаются некие события. «Чуткий» Аралов сообщил присутствующим, что советская дипломатия «достаточно опытна и умела, так что когда советской власти надо обойти и втереть очки буржуазным дипломатам, туда посылаются новые первоклассные дипломаты, Литвинов или Чичерин... Наша красная дипломатия говорит на трех языках: один для друзей, наших совместных работников, другой для официальных случаев и третий для наших врагов». Касаясь отношений с прибалтийскими странами, С. Аралов сказал: «Перед нами много симптомов, указывающих на близкую перегруппировку первенствующих классов Прибалтики. Уже улавливаются первые струи дыма, а дыма без огня не бывает... вы увидите облако густой пыли и зарево, в котором поджарится в собственном сале упитанная западная буржуазия со своими прихлебателями». И С. Аралов добавил: «Товарищи, мне по занимаемому мною положению приходится воздержаться от более ясных пояснений». Зато первый секретарь представительства Гамбаров был куда откровеннее. «Взаимоотношения, существующие между Латвией и СССР, — сказал он, — побуждают советскую власть одной рукой вручать Латвии ноты о добрососедских отношениях и заключении общих торговых сделок, а другой рукой вносить в смету внеочередных советских расходов суммы на вооружение. Происходит это потому, что положение Латвии как кордона между СССР и буржуазными странами Запада не позволяет советской власти более интенсивно производить и связывать между собой те подготовки в этих государствах, которые ведут к мировой рево-

люции, и это устранится только тогда, когда усовершенствованное вооружение СССР пробьет брешь в этом кордоне и упавший за перерывом этой китайской стены изолированности СССР снаряд подаст сигнал классу трудящихся пролетариев...» Сотрудник представительства Ероцкий высказался насчет Латвии еще определеннее: «Товарищи, здесь в Латвии положение складывается такое, что пролетариату надо быть на страже, надо сплотиться в профсоюзы и быть готовыми вбить последний кол, когда придется за себя постоять».

19 ноября в латышском центральном коммунистическом клубе Москвы собрание, на котором присутствовало 800 человек, провозгласило лозунг: «Да здравствует Советская Прибалтика в Союзе ССР!», а «Криваяцкая» 29 ноября пророчески заметила: «Завтра утром суд над эстонской буржуазией будет вершить рабочий класс».

1 декабря в 5.15 утра начался коммунистический путч в Таллине, к эстонской границе были подтянуты крупные советские сухопутные силы, вблизи побережья маячил советский военный флот. Путч с треском провалился, а первый секретарь посольства СССР в Таллине доверительно сказал советнику германского посольства доктору Х. Рюсеру, что Красная Армия выступила бы на помощь «восставшим», если бы тем с самого начала улыбнулась удача.

Не принес мира и спокойствия и 1925 год. 30 января, выступая на заседании Реввоенсовета СССР, Михаил Васильевич Фрунзе заявил, что в ближайшем будущем можно ожидать определенных военных осложнений в отношениях между СССР и окранными государствами. Сведения об этом заседании дошли до органов безопасности Финляндии, и 13 марта шеф финской тайной полиции Экко Пиекка проинформировал латвийцев, что на заседании 30 января намечены акции против Латвии и Эстонии «не под видом «местного путча», а путем прямого военного выступления... Фрунзе будто бы заверял, что он в мае будет готов к наступлению...» Опасения насчет возможной агрессии СССР против государств Прибалтики распространились и среди состоятельных кругов населения этих стран.

В марте латвийская политическая полиция констатирует, что «в последнее время многие из наиболее богатых местных евреев стремятся заложить в банк свое недвижимое имущество — дома в Риге, а полученные деньги вложить в зарубежные предприятия или просто обратиться в иностранную валюту». В апреле из Эстонии в Латвию перебрался целый ряд коммунистов, предварительно в советском посольстве в Таллинне им выдали крупные денежные суммы. Своим знакомым они говорили, что едут в Латвию для того, чтобы помочь местным коммунистам устроить в мае или в июне «одну заваруху».

В свою очередь в Латвии большую активность развил заведующий отделом печати и курьерской службы посольства СССР в Риге И. (Иоганн) Ласис — секретарь партийки представительства. В конце апреля по республике прокатились широкие аресты коммунистов. Было обнаружено письмо руководителя Латсекции Коминтерна Карла Крастыня («Виктора»), адресованное одному из местных коммунистов. В письме говорилось: «По получении почты от Ласис немедленно часть перешлите местным областным организациям и сообщите мне. По получении этого письма немедленно наведи справки в представительстве у Ласис, не прибыли ли первомайские плакаты, которые я просил отправить экстренным порядком . . . Маленькому (очевидно, кличка какого-то коммуниста или комсомольца. — А. С.) передайте, что КИМ (Коммунистический Интернационал Молодежи. — А. С.) ждет квитанцию за последние доллары». К стати, 11 июля представительство Латсекции Коминтерна в Пскове выпрашивало у местного отдела ОГПУ «пять тысяч рублей латвийских денег». Вне сомнения, деньги нужны были на финансирование подрывной деятельности против Латвии.

Широкую шпионскую сеть Волгина перенял Иван Красовский, прибывший в Латвию 6 июня. Этот человек представлял ОГПУ в советском посольстве в Риге до 20 февраля 1927 года.

28 июля в Латвии приступил к своим обязанностям новый советский посол Алексей Черных. Латвийская контрразведка установила, что на самом деле это не кто иной, как Айзик Шварц, родившийся в 1892 году в Одессе и во время гражданской

войны подвизавшийся в одесской чека. Информатор латвийской полиции безопасности доносил о нем: «Черных — это так называемый «идейный» коммунист . . . он был достаточно осторожен (на предыдущем месте работы. — А. С.) и не допускал, чтобы его подчиненные вели открытую агитацию среди местного населения. Вообще Черных умеет облечь свою деятельность во внешне корректные и лояльные формы. Из его личных слабостей следует отметить одну — падок на женщин». Гораздо больший вес имела информация, полученная латвийской службой безопасности в ходе анализа причин снятия С. Аралова и назначения послом А. Черныха: «. . . Отзыв Аралова, по некоторым сведениям, произведен по требованию сторонников левого крыла, которые сочли политику Аралова в Латвии чересчур умеренной и неудовлетворительной». (Под «левым крылом» тогда в Латвии понимали прежде всего клику Г. Е. Зиновьева в Коминтерне и внутри ВКП(б).) Неудивительно, что и при «корректном» А. Черныхе-Шварце подрывная деятельность против Латвии не ослабевала.

В сентябре в Латвию прибыл советский военный атташе Анин, который самолично руководил агентурой разведупра и непрестанно прибегал к услугам Алфредса Витолса. Изменник был арестован латвийской службой безопасности в 1926 году, был задержан и сотрудник советского торгпредства Белов, уличенный в шпионаже. Всего в течение 1926 года, к ноябрю, в Латвии было ликвидировано 5 шпионских организаций, при этом арестовано 40 человек, занимавшихся главным образом военным шпионажем.

3 сентября 1926 года в Ригу приехал Карлис Ланге, секретарь советского военного атташе. Он развернул широкий сбор шпионских сведений о Латвийской армии. Местом конспиративных встреч его агентов был мебельный магазин Тайца на улице Авоту, 16а. Карлису Ланге активно помогала Антония Биндже, чей брат служил в ОГПУ в Москве. На своей даче на берегу озера Балтззерс Антония часто устраивала приемы для латышских офицеров, на даче некоторое время проживал и генерал П. Радзиньш, выдающийся военачальник и

крупный военный специалист, бывший командующий армией. Антонию Биндже удалось завязать знакомство с офицерами штаба Видземской дивизии — старшим лейтенантом Кактиньшем, прежде служившим в Красной Армии, капитанами Зандбергсом и Званерсом. К. Ланге был взят с поличным 11 мая 1928 года, при нем были найдены мобилизационные планы Латвийской армии и сведения о военном сотрудничестве с Польшей. Антония получила 5 лет каторги, советский военный атташе полковник Судаков и К. Ланге были высланы из страны, а карьера умнейшего генерала П. Радзиньша, человека настроенного антибольшевистски, оборвалась ввиду громкого скандала. Советский Союз пытался представить дело так, что Карлис Ланге стал жертвой провокации. (Знакомый мотив. — Прим. ред.) 30 августа 1928 года в Москве была арестована гражданка Латвии Эмма Херцберга — знакомая А. Биндже. Ее 16 раз допрашивали на Лубянке, вымогая показания, что она, мол, является агентом политической полиции и что Ланге в Риге был спровоцирован. 30 октября референт Наркоминдела А. Фехнер заявил первому секретарю латвийского посольства в Москве Я. Виграбсу, что Эмма Херцберга призналась в том, что она «состояла в руководимой Биндже организации, целью которой было спровоцировать советского сотрудника Ланге...» А. Фехнер сказал, что Э. Херцберга пыталась собирать в СССР секретную информацию, но не уточнил, какую и где. 1 ноября Э. Херцберга была выслана в Латвию, однако А. Фехнер предупредил Я. Виграбса о том, что если (со слов Я. Виграбса) «наша пресса (т. е. латвийская. — А. С.) станет писать о деле гр-ки Херцберги и сообщать об этом неверные сведения, которые между тем уже появились, то и русские будут вынуждены опубликовать не только материалы, полученные от гр-ки Херцберги, но и другие, которые, мол, докажут, что Ланге стал жертвой провокации. Комиссариат подобной полемики в прессе хотел бы избежать, так как она повредила бы хорошим отношениям между Латвией и СССР и затруднила бы комиссариату защиту наших (латвийских. — А. С.) граждан в случаях, как, например, с арестом Херцберги». Как ви-

дим, «дело» Эммы Херцберги было состряпано с единственной целью — получить козырь в подлинном деле шпиона Карлиса Ланге и воспользоваться всем этим для того, чтобы заглушить толки о случившемся. Надо отметить, что в 1927—1929 годах в СССР было передано в суды 23 дела более чем на 30 человек, обвинявшихся в шпионаже в пользу Латвии. Девятерых расстреляли. По данным латвийских спецслужб, только четверо (В. Федьковский — расстрелян в начале 1928 г., А. Ермолаев — приговорен 3 февраля 1928 г. к 10 годам, Я. Пилскалнс и Я. Винтерс) действительно были агентами разведслужбы Латвийской армии. 8 декабря 1928 года в Ленинграде в военном трибунале состоялся «процесс латвийских шпионов» — некоему В. Байкову инкриминировалось создание организации из 8 человек (4 советских гражданина, 3 гражданина Латвии, латвийское гражданство самого В. Байкова доказано не было). По всей вероятности, это был инсценированный процесс — судили обыкновенных спекулянтов, промышлявших в пограничном районе.

В мае 1929 года советским военным представителем в Латвии был назначен Николай Смирнов. До того, с 1927 по 1929 год, он работал в Финляндии, где создал обширную шпионскую сеть, но был вынужден с ее провалом покинуть страну. Н. Смирнов стал резидентом ОГПУ в советском посольстве в Риге. Он продолжил дело, начатое К. Ланге, и к декабрю 1930 года завербовал, по-видимому, около 15 человек. Но в отличие от предшественника деятельность Смирнова носила гораздо более всесторонний характер. (К слову, еще в 1928 г. генеральный консул СССР в Латвии В. Шеньшев начал обхаживать латышских художников и общественных деятелей Я. Лиепиньша, Р. Суту, А. Бельцову, А. Озолинь-Краузе, стремясь с их помощью организовать в Риге легальное общество культурного сближения с СССР.) Н. Смирнов старался во что бы то ни стало склонить латышскую интеллигенцию к поддержке СССР, пытался повлиять на русский драматический театр, чтобы он не ставил не угодных Советам пьес. Историк Б. Даукстс аргументированно показал, каковы были роль и место «общества куль-

турного сближения с народами СССР» в общей советской стратегии в Латвии, особенно в конце тридцатых годов. В 1940 году, когда СССР аннексировал Латвию, именно из этого кружка вышел премьер марионеточного правительства А. Кирхенштейн и другие коллаборационисты.

На исходе 20-х годов большой «специфической» активностью отмечена и деятельность советского торгпредства и других хозяйственных организаций. Уже таллиннский путч 1 декабря 1924 года наглядно показал, что для подрывной работы используются принадлежащие этим организациям склады (путчистов вооружали со складов Доброфлота в Таллинне). Склады советского торгпредства в Риге тоже стали «косиным гнездом» ОГПУ, отсюда осуществлялось и руководство местной компартией. «На складах проводятся партийные собрания, сотрудники организации поддерживают здесь взаимные контакты, распространяется литература», — констатировала латвийская политическая полиция. Окреп и Кооперативный транзитный банк, на 1 января 1928 года его капитал составлял уже

3 000 000 латов. Надо ли удивляться тому, что председатель правления банка П. Дашкевиц через своего доверенного — секретаря Центросоюза СССР А. Гуревича осенью 1928 года передал коммунистам 10 000 латов на избирательную кампанию по выборам в III Сейм — парламент республики (6—7 октября 1928 г.). Помощник резидента ОГПУ Н. Смирнова — секретарь транзитного банка С. Турутта тоже из кожи вон лез, нелегально финансируя КПЛ.

* * *

Торжественно провозглашенный Советской Россией в августе 1920 года отказ от притязаний на Латвию «на вечные времена», равно как и от поддержки организаций, подрывающих безопасность и независимость Латвийской Республики, так и остался на бумаге. Правда, в первое десятилетие большевикам не удалось реализовать поддержанный Сталиным план Арвида Зейбота, который он предложил Политбюро в 1922 году. Время великой жатвы настало на исходе следующего десятилетия. Обещанная «вечность» длилась всего 20 лет.



В мае 1990 года

ВНЕ МЕТРОПОЛИИ: ЖУРНАЛ «СИНТАКСИС»

Журнал «Синтаксис» выходит с 1978 года в Париже. Издатели: А. Д. Сиянявский и М. В. Розанова, начиная с 11-го номера — М. В. Розанова. В январе этого года вышел 26-й номер, из чего можно вычислить среднюю периодичность издания. Журнал выпускается в европейском карманном формате, первые выпуски примерно стостраничные, затем журнал несколько «толстеет» и теперь по объему примерно сравним с «Даугавой».

Это уже второй «Синтаксис», о первом — поэтическом подпольном журнале «Синтаксис», выходившем под редакцией А. Гинзбурга в Москве и Ленинграде (в 1959—1960 годах, всего три номера), разговор требует отдельный. А. Гинзбургу первые выпуски нового «Синтаксиса» и посвящены, первый номер журнала открывается статьями в его защиту — в то время А. Гинзбург был арестован по третьему разу. Кроме этих материалов первый номер составляют статья Л. Копелева в пользу отмены смертной казни, статьи А. Янова «Идеальное государство Геннадия Шиманова», А. Терца об анекдотах, М. Каганской о Набокове и некролог А. Галича (М. В. Розанова). Очень тонкая книжка — еще, собственно, не журнал, а сборник материалов.

Общее направление журнала вроде бы характеризуется перечислением употребляемых им жанров: «Публицистика, критика, полеми-

ка» — определяющих журнал как общественно-политический. Это, впрочем, не вполне так: журнал не является партийным органом, манифесты и призывы к общественности в нем места не имеют. Понятно, что с точки зрения эмигрантской оппозиции «либералы — славянофилы», журнал — связанный с А. Д. Сиянявским — естественно представляет либералов, но сказать (во всяком случае, в понимании термина «партия», пока еще органичном для живущих в СССР), что журнал является партийным — трудно. Это скорее реализация довольно близких и не обязательно близких — до какой-то степени не противоречащих друг другу точек зрения людей, отдающих в журнал свои тексты. Журнал, точнее говоря, реализует некоторое мнение.

Вот что тут существенно (следует сказать сразу — автора статьи больше интересует общая типология издания, нежели политические платформы, что, полагаю, естественно, учитывая местонахождение «Даугавы»): многие статьи из 26 книжек «Синтаксиса» окажутся перепечатанными в России — что, кстати, уже и происходит, и это представляется одной из основных причин, по которым журнал трудно отнести к политизированному — сам характер публикуемых в нем материалов слабо, кажется, требует возникновения полемики, пусть даже и создавая ее возможный контекст. Можно сказать и так: журнал предпочитает иметь

дело с комментариями, но не с энциклами, что определяет его авторов как людей, которым есть дело до конкретного читателя: как до конкретного человека, с которым говорить почти лично, а не некоей абстрактной единицы, весь смысл существования которой состоит лишь в том, чтобы быть гипотетическим и почти произвольным адресатом. Здесь конкретные человеческие качества вовсе не излишни, напротив — привлечение личного опыта читателя в каждом случае необходимо. Издание подобного рода, очевидно, может существовать лишь при постоянном сотрудничестве таких авторов, каждый из которых сам себе рубрика.

Что до авторов, то «Синтаксис» образует постоянные появления статей А. Синявского, А. Терца, Г. Померанца, Б. Гройса, А. Янова (в первых номерах), И. Померанцева, З. Зинника. В «Синтаксисе» печатались А. Амальрик, Г. Белль, Е. Эткинд, Чеслав Милош, Томас Венцлова, Ю. Вознесенская, И. Голумшток, Б. Хазанов, С. Довлатов, Саша Соколов, причем примерно до 21-го номера в журнале почти не появляются материалы из России (не из самиздата, разумеется: работы оттуда в журнале появлялись регулярно) — принадлежащие людям, как это сказать — «официальным», включенным в структуру советской культурной жизни. А начиная с 1988 года уже публикуются Н. Иванова, А. Стреляный, А. Битов, А. Мальгин. Дело, понятно, не в личном интересе издателей к тому, что происходит в России. Интерес этот, разумеется, существовал всегда: дело чуть сложнее. Начавшись в 1978 году как почти что просто типографски отпечатываемый самиздатский журнал, «Синтаксис» развился, стал реальным журналом, отражающим точки зрения части новой, так называемой «третьей волны» эмиграции — довольно многочисленной и, в сравнении с первыми двумя «волнами», наиболее интеллектуальной: представители которой в течение десятилетия могли жить, полагая — и справедливо — что центр споров, практически без потерь (с небольшими поправками на изменившиеся обстоятельства жизни) просто переместился на Запад. Интеллигенция туда была перемещена в количестве

вполне достаточном, дабы разговор продолжался и там, причем не надуманный, а более чем реальный — учитывая при этом свободу его ведения и доступ к информации, невозможные для находящихся в России. Собственно, и говорить об этом почти излишне, но в материалах «Синтаксиса» решительно не обнаруживается никакая надуманность и расхождение говоримого там с тем, что было существенным здесь. Начиная же с 1988 года возрастает интерес к происходящему здесь, причем эти изменения (а это свойство не только «Синтаксиса», «официальных» авторов из метрополии в то же примерно время начинают печатать и другие журналы зарубежья) связаны не только и не столько с изменениями политического характера. Дело в чем-то другом. Реально изменилась наша реальность.

Разумеется, сказанное выше об отсутствии полемики верно лишь отчасти, а именно если смотреть отсюда, да еще из 1990 года, да еще и на все номера журнала сразу. Но в любом случае полемика, кажется, возникла в результате самого факта продолжения публикации таких-то и таких авторов, со свойственными тем взглядами, куда меньше связываясь с партийным реагированием на издания другого толка. Ее, полемики, почему-то не очень видно, хотя, казалось бы, она и присутствует в регулярно встречающихся резкостях по очередному адресу: возникает впечатление, что резкости эти являются лишь локальной формой речи — свои позиции настолько очевидны, что особенно стараться, их отстаивая, просто незачем, пытаться переубедить оппонента — тоже невозможно: у того просто другой взгляд на вещи, тоже сложившийся не вчера. Все это что-то вроде как подать знак публике из своих и чужих: обнародовать свою естественную реакцию на то или иное. Отчасти — просто подтверждающая существование самой реакции. Но, может быть, так кажется отсюда и теперь.

Но вот уж с чем полемики нет вовсе — так это с представителями и структурами советской власти, выступающими для авторов «Синтаксиса» если и не в облики дурной погоды, то во всяком случае явля-

ющимися чем-то, не обладающим тем минимумом сознания, при котором еще возможен хоть какой-то разговор. Никто из авторов не будет всплескивать руками, узнав об очередном мероприятии властей, равно как и не станет предпринимать попыток как-то эту власть вразумить. Здесь нет и намека на какую-либо демонстративность; ну в самом деле — о чем с ними говорить-то можно и что им объяснить? Иначе говоря, «Синтаксис» журнал явно не «всеобщий». Он что-то вроде журнала «ведомственного» — какими бывают, например, журналы научные; так вот, этот журнал ориентируется на интеллигенцию и только. Во вред издаванию подобная избирательность не идет.

Какого рода статьи печатаются в журнале? Статьи политологические, советологические, рецензии на книги, выходящие в зарубежье, литературоведческие статьи, статьи междисциплинарного характера, культурология. То, что связано с литературой, — наиболее постоянная и объемная составляющая «Синтаксиса»: статьи о Зоценко, Толстом, Набокове, Кузmine, Булгакове, Олеше — словом, о том, что естественно входит в круг интересов любого русского интеллигента, где бы тот ни находился. Архивные материалы — дневники О. Фрейденаберг, воспоминания о Борисе Поплавском, дневник Кузмина, есть раздел «Вопросы истории». Приведу некоторые заголовки: «Сталин — герой и художник сталинской эпохи» А. Синявского, «Советские табу» Е. Эткинда, «Мандельштам после Воронежа» В. Швейцера, «О русской философии» Б. Гройса, «Соц-арт» З. Зинника, «Феномен Глазунова» И. Голомштока, «В сторону Глюксмана» А. Пятигорского, «Рождение культа» М. Вайскопфа, «Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса» Г. Померанца, седьмой номер «Синтаксиса» целиком составляет книжка Л. Пинского «Парафразы и памятования», «Типология культур по отношению к смерти» Л. Седова, «Антисемитизм» Ханны Арендт, «Солженицын как устроитель нового единомыслия» А. Синявского, «Будущее интеллектуалов и восхождение нового класса» Элвина Гулднера. При этом следует отме-

тить, несмотря на серьезное разнообразие тем, — видимое уже из одного только перечисления названий статей, — они более чем вполне ладят в журнале друг с другом. (При перепечатке же статьи разойдутся по журналам соответствующего профиля: «Соц-арт» Зинника перепечатало «Декоративное искусство», например; художественные тексты пойдут в литературные журналы, публицистика — в общественно-политические, в «Синтаксисе» же они вместе и друг другу не мешают.) В чем, очевидно, заслуга именно «Синтаксиса» как журнала: именно целостный как журнал, он не позволяет разнообразно оказаться эклектикой. Кратко формулируя — все это про то, что может заинтересовать человека определенного сознания; то скажем, что с необходимостью должен знать интеллигент. При этом, разумеется, с частной профессиональной направленностью каждого из высказываний что-то произошло, в результате чего высказывания перестали быть узкопрофессиональными по преимуществу, не опустившись в то же время до популяризаторщины.

Здесь прежде всего любопытны сам уровень и интонация столь гибкого разговора: любопытно определить не только слой сознания, который подобные тексты порождает и которому они любезны, но и жанр, такому сознанию наиболее свойственный. Жанр, собственно, был уже назван выше, это комментарии — доведшие свое качество до возможности выделения в жанр. В качестве повода для комментария выступает что угодно, притом вовсе не обязательно — а даже и наоборот — не прокомментированное ранее. Видимо, комментарии это сознание если и не определяют полностью, то характеризуют его наиболее точно. Но — что весьма существенно — сам этот жанр вовсе не вторичен и не обрекает авторов, его придерживающихся, на интеллектуальную пассивность: подобное сознание вполне активно, если не связывать понятие активности исключительно с созданием чего-либо совершенно заново. Сознание подобного рода достаточно распространено, поэтому проблем в согласовании комментариев разного рода не возник-

кает. Разумеется, оно свойственно вовсе не только эмиграции, но в «Синтаксисе» проявляет себя точнее за счет хотя бы стилиевой чистоты журнала, практически недостижимой для журналов метрополии (кроме самиздата).

Здесь весьма любопытно положение, которое занимает в журнале художественная литература. Прежде всего, что касается литературоведческих статей: они надежно теряют свою привязку к литературе — служажие основанием статьям литературные факты оказываются просто поводом для комментария. Нет особенной разницы (типологической, скажем так) между статьями Натальи Ивановой, И. Голомштока о Глазунове или «Акафистом пошлости» Г. Померанца. Похожие вещи происходят и с художественными текстами (как с прозой, так и с поэзией). Их, прежде всего, в журнале не очень много, в любом случае они не занимают в журнале отдельного места, но оказываются вписанными в общий контекст конкретного номера. Они поэтому должны быть достаточно определенного рода, тоже с некоторым «комментаторским» уклоном. Например — Кибиров с его историями о том, как Ленин был маленьким, или с поэмой-посвящением Л. С. Рубинштейну. Или тексты, составляемые путем специальной обработки некоторых пратекстов, вроде того прозаического стишка, который А. Битов осуществил с помощью Толкового словаря, выбрав из него слова с пометкой «устар.» (уже опубликован в «ЛГ»); основанием вполне художественного текста А. Терца «Золотой шнурок» послужила старинная книга «Ключ к русской грамматике для француза». Литераторы — кроме упомянутых только что — среди постоянных авторов «Синтаксиса» есть, это прежде всего — Зиновий Зиник и Игорь Померанцев, но оба лондонца (из интереснейших прозаиков зарубежья) художественные тексты в журнале публикуют редко, в большинстве случаев выступая в смежных жанрах. Литература — реальная, «актуальная», скажем так, — в «Синтаксисе» редка: на публикацию «свежих» текстов «Синтаксис» обычно не идет, и это можно заметить по факту обратному — статья Е. Мнацакановой о Хлебникове, крайне высо-

копрофессиональная, имеющая отношение к литературе как к искусству, а не общественному процессу, из журнала выпадает. А не выпадают, например, «Стихи о литературных ситуациях» Померанцева, «Подстрочник» Зиника, то, что осуществляют на страницах журнала Бахчанян, Кенжеев, Волохонский, Кузминский.

Речь здесь всего лишь о том, что «Синтаксис» — журнал не литературный, но интересный, и выше уже было сказано, какой именно. Но чтобы оказаться интересным, публикуя комментарии, необходимо держать под контролем картину в целом, и здесь с некоторой поры начинает сказываться отдаленность от метрополии. И прежде всего отдаленность от происходящих там художественных процессов. Как это ни покажется странным: не политических, не общественных, а именно художественных. За десять лет там выросло новое поколение литераторов, до 25-го номера на страницах «Синтаксиса» не появлявшихся, анализы же текущего состояния русской литературы в метрополии, публикуемые в журнале, увы, — особенно в исполнении П. Вайля и А. Гениса — отличаются редким непониманием происходящего там, несколько, признаться, умиляя выбором имен и давно уже позабытой критикой а ля Белинский что-нибудь про образы русских женщин.

Мораль тут в том, что некое реальное новое сознание — не в смысле горбачевской политической фразеологии, а в его реальном смысле — в метрополии-таки возникло. «Синтаксис» реагирует на это естественно и довольно быстро. На его страницах появляются новые авторы из метрополии, печатаются материалы совместных советско-эмигрантских конференций. Печатаются статьи М. Эпштейна, С. Лурье, при этом, например, статья В. Кулакова (Москва) о модернистском гротеске уже — в отличие от статьи Мнацакановой, шестью годами ранее — вовсе не конфликтует с общим содержанием номера, несмотря на свою вполне профессиональную направленность. Здесь существенно еще и то, что материалы из России появляются на страницах «Синтаксиса» в свободном, что ли, виде, а не в качестве повода к очередному комментарию. То есть «Син-

таксис» не стремится использовать подвернувшийся случай, дабы обрушить на головы людей из метрополии свои сформулированные позиции, наоборот — заинтересован в том, чтобы усилиться с их помощью. Это вовсе не мораль, но можно оценить время изменения сознания: первая половина восьмидесятых.

Существует, разумеется, и такой очевидный аспект существования «Синтаксиса», как положение русского журнала вне России. Статьи, публикуемые в журнале, могут быть интересными, хорошо написанными, отражать мнения определенного круга людей как там, так и здесь, но само русское мировосприятие вне метрополии — дело, в общем, другое: если акцент ставить на мировосприятии, а не на том, что вне метрополии. Это, казалось бы, трюизм — если не учитывать самого характера «Синтаксиса». Такое мировосприятие проявило бы себя и без конкретки на него обращенного внимания (по отношению к «Синтаксису» верно и это — за 13 лет выпуски журнала сложились во вполне явный и самостоятельный роман на сей счет, роман, знающий и сообщающий куда больше, нежели предполагали сами его авторы), но странно было бы, если бы «Синтаксис» на него внимание не обратил. Для этого в журнале отведен раздел «Другие берега», среди авторов которого всегда интересен Зиник («На обратном пути», «Эмиграция как литературный прием», «Двуязычное меньшинство», впрочем, в своих романах Зиник разрабатывает именно тему эмиграции), А. Синявский («Похвала эмиграции»), статей подобного рода много и читать их интересно весьма.

Но учитывая географическое положение «Даугавы», вопрос о том, что происходит с людьми вне метрополии, более чем не праздный. Что именно происходит с людьми, с группами людей вне ее: не в смысле душевных переживаний, бытовых неурядиц и проблем. Об этом напишут сами эмигранты. С другой стороны, почти технологической — как именно и в какой степени ослабляются личные связи с живущими в метрополии, более того — как исчезают естественные каналы взаимодействия с окружающей жизнью: не собственно бытового характера, но

какие-то такие, наличие которых и делает человека, живущего в некоей точке, именно человеком тамошним, а не полупосторонним. Урезание числа подобных каналов очевидно, возникает нечто вроде аскезы, связанной с набором ограничений — вовсе не принятых по собственной воле. Речь вовсе не о том, что человек, оказавшись там, вдруг начинает ощущать тягу к экзистенциальным проблемам — хотя, вполне вероятно, такую тягу он может почувствовать. Речь о другом — все внимание переходит на вещи в их отдельности, бытовые реалии прежней жизни переходят в ряд почти символов, любая проблема, выданная из общего хода жизни, окажется самодовлеющей. Начинается метафизика — потому что в ту жизнь вряд ли продолжает поступать время метрополии: вряд ли его в состоянии поддерживать письма и телефонные звонки, вряд ли они способны содержать человека там в состоянии со-проживания времени. А в новой среде — это время проживается на другом языке.

Все это, понятно, вовсе не инвектива в адрес эмиграции: кому покажется, что эмиграция — славное дело?

Вместе с этим любое высказывание уже не ориентируется на сиюминутность, речь перестает быть торпливой, прилизательной и необязательной, все авторы — прекрасные стилисты. Что, в общем, не так уж и мало: кто пишет лучше, тот и прав. Правда, лишь в том, что сумел написать. Но отсутствие возможности быть внутри развития событий и постоянного мельтешения разнообразных — пусть даже нелепейших — мнений ликвидирует возможность письма на акцентах: отдельность каждого высказывания резко возрастает. В том смысле, что любая статья о чем угодно будет стремиться вмести в себя сразу все, что имеет отношение к предмету речи: речь, иначе говоря, всегда будет стараться идти *ab ovo*. В этом есть что-то очень неправильное, чисто на вкус выглядящее как избыточная стерильность образуемого в результате материала. Метафизика — это вовсе не обязательно плохо, но это такая специальная профессия. *Ab ovo* — в том смысле, что каждый из пишу-

щих на конкретную тему подсознательно, что ли, будет строить свою речь в предположении, что, кроме него, на эту тему не говорил никто и никто после него говорить уже не будет. Много цитат, но мало ссылок.

И вот еще какая беда: там почти не возникают новые поводы для разговора. Статьи могут быть культурологические, философские, какие угодно — мемуары, о чем угодно — вроде текстов Волохонского. Но все это логически предсказуемо. Все, что пишется, пишется прежде всего именно конкретным автором, а не возникает само собой. Нет текстов, возникших

немотивированно, несуразных, непонятно про что. И это вовсе не об отрыве от народных масс или чем-то подобном. Что-то, непонятно что, теряется. Вот, собственно, в чем проблема: что должно присутствовать, дабы существование русской среды, отделенной от метрополии, было реальной жизнью, а не ослабленным и более чем провинциальным ее подобием? Насколько автономной она может позволить себе быть? Вряд ли ответ можно найти на уровне оргвыводов о необходимости постоянного телеканала и регулярного, в полгода раз, посещения метрополии. А если и на таком уровне, то вряд ли в такой мелочевке . . .



В мае 1990 года

ПО ДЕЛУ № 214224

Опубликованные недавно материалы о Гумилеве (основанные на деле «Петроградской боевой организации») из ведомственного архива¹ проясняют суть этого — вызвавшего за семьдесят лет множество толков и интерпретаций — дела. Какие-то детали, впрочем, еще нуждаются в объяснении². Не говоря уже о том, что, как справедливо отмечено Ф. Ф. Перчонком и Д. Фельдманом³, все дело «Петроградской боевой организации» ждет непредвзятого изучения, с тем чтобы ответить на вопросы, поставленные еще шестьдесят девять лет тому назад, — например, вопрос о роли провокатора матроса Панькова⁴. Тогда, осенью 1921 года, сомнения возникали не только по поводу Гумилева, но, например, и в связи со скульптором, искусствоведом, сотрудником Русского музея князем С. А. Ухтомским. Вот что писала о нем историк Т. С. Варшер: «Я видела его в последний раз в конце июля — когда пришла проститься с ним и с его женой. Они занимали комнату в Доме искусств, в двух шагах от Гороховой. Княгиня только что вернулась: два раза в неделю она носила «передачу» Владимиру Николаевичу Таганцеву. Она твердо высказывала свою уверенность, что никакого заговора не было. Того же мнения был и Сергей Александрович. Воспитанный в традиции передового тверского дворянства (...) он был носителем идеалов, но был совершенно неприемлем в роли заговорщика. Расстрелом Сергея Александровича Ухтомского чека только подтвердила то, что мы все предполагали: никакого

заговора не было. Неизвестно за что погиб один из самых обаятельных людей в России»⁵.

По поводу идиотической формулировки преступления Ухтомского искусствовед Г. К. Лукомский тогда же писал: «Он расстрелян (...) за то, что, обладая кое-какими (?) сведениями о музейной жизни (неблагоприятными для престижа власти?), передавал их «организации» для сообщения зарубежной прессе.

Какой? В парижских газетах, да тем более берлинских, за последние месяцы не только не появлялось ничего «компрометирующего» в этой области жизни России, но, пожалуй, наоборот, замечен был (в связи с образованием «Комитета»⁶ и надеждами в некоторых кругах на соглашательскую возможность) иной «курс». Писали скорее хорошее о музеях⁷.

Ждут своего поименования и вершители судеб Гумилева, Ухтомского, Тихвинского и других⁸.

Главным «героем» таганцевского дела современники называли известного чекиста Якова Агранова («определенный негодяй по убеждениям, человек, которому целый ряд коммунистов не поддают руки»)⁹, впоследствии руководившего «литературным подотделом ГПУ» (вербовка сексотов, привлечение писателей к сочинению агитационной литературы, наконец, личное и неформальное общение с подопечными — он был близким и пылким другом Маяковского)¹⁰, входившего в личный секретариат Сталина, приложившего руку к постановке показательных процессов и настигнутого «большим террором». Ме-

муарист передает слова Бориса Пастернака об Агранове: «Когда-то был правой рукой Дзержинского, приближенным Ленина. Отправил на тот свет Николая Гумилева и множество выдающихся русских деятелей, а теперь играет роль доброй феи для музыкантов»¹¹.

Обращаясь к зыбкой сфере слухов и догадок, конечно, можно встретить и версии самые фантастические. Журналист Н. Н. Брешко-Брешковский, например, сообщал когда-то содержание статьи, подготовленной для французской печати А. Н. Неваховичем (в прошлом — секретарь морской следственной комиссии Черноморского флота при белых, связанный с контрразведкой и сотрудниками британской секретной службы, впоследствии покончивший с собой в оккупированном немцами Париже). Статья эта нами не разыскана, поэтому передадим изложение Н. Н. Брешко-Брешковского: «... целая фаланга опытных разведчиков брошена была и на западный фронт к союзникам, и на турецкий, и на Балканы. В числе их командирован был во Францию и Салоники с целым рядом секретных и важных поручений и молодой кавалерийский прапорщик Гумилев. (<...> Только теперь стало известно, как блестяще выполнил Гумилев первую часть возложенных на него задач. Приход большевиков к власти застал Гумилева в Париже. Русские вышли из игры, и служебная поездка Гумилева на Балканы сама собою отпала. Английское командование на западном фронте, успевшее оценить и по-своему полюбить Гумилева, предложило ему на выбор три комбинации. Первое — окончательно перейти в Интеллидженс Сервис и уехать на Месопотамский фронт, куда его звал усиленно (?! — Р. Т.) Лоуренс Аравийский (?! — Р. Т.), много о нем слышанный (?! — Р. Т.). Второе — отправиться в одну из белых армий при английском штабе по разведке и контрразведке. Третье — самое жуткое — вернуться в Россию для взрыва большевиков изнутри...»¹²

Что же касается ныне обнародованных протоколов, то нельзя не заметить, что поведение Н. С. Гумилева на следствии отличается от тех реконструкций, которые делались людьми, знакомыми с ним шапочно.

Так, мельком знавший его Александр Куприн писал: «Никогда, ни в каком заговоре он участвовать не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей, голодной, холодной России, заведенной за пределы того, что может стерпеть человек, — заговор из пяти людей уже не заговор, а провал и катастрофа. А у Гумилева был холодный, скептический и пронизательный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил допросчиков каких-нибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры»¹³.

Или, например, автор некролога, подписавшийся инициалом «К», который с Гумилевым «встречался во «Всемирной литературе» и в других местах:

«Он не понимал, что такое историческое развитие. Он мог быть серьезно убежден, что средневековые рыцари погибли только потому, что их перебили, и что в один прекрасный день они могут вновь возродиться. Его бы нисколько не удивило, если бы вслед за большевиками в России воцарился римский папа¹⁴. Он не любил советского строя, но совершенно конкретно, потому что негде было печатать стихов, приходилось самому готовить обед и очень трудно было достать бутылку красного вина. Не любил он большевиков еще потому, что они неблагоприятны. А в нем были, быть может, несколько отсталые понятия о благородстве, и в нем была прямота, смелость и решительность. Гумилев, вероятно, очень удивился бы, если бы ему предложили принять участие в «конспиративном» предприятии. С его точки зрения, это было бы нечестно и неблагоприятно, хотя бы это предприятие было направлено против его злейших врагов. Я ясно представляю себе, что он молчал как вода, когда его в чека допрашивали о фамилиях, знакомствах, адресах. Быть может, это его погубило.

Гумилев — и участие в заговоре, — это все равно что Зиновьев — и вызов на дуэль. Гумилев мог ехать в Африку охотиться на львов; мог поступить добровольцем в окопы, мог бы, если бы до этого дошло, предупредить Зиновьева по телефону, что через час придет и убьет его, но Гумилев-заговорщик, Гумилев-конспиратор — неужели мы все сошли с ума?

Да, он мог прочитать прокламацию,

которую ему принесли. Да, он мог сказать своему знакомому Таганцеву, что в случае восстания он познакомит его со своим знакомым Ивановым или Петровым. Ведь не станет же он, Гумилев, доносить в чека, что такой-то приносил ему прокламацию для прочтения, а может быть, даже и для литературной правки? И — поймите — только это инкриминируется ему в официальном сообщении»¹⁵.

Вероятно, Гумилев и впрямь не любил большевиков, хотя мог находить в их психологическом типе и в их государственной политике какие-то достойные уважения моменты, например когда отмечал, что «большевики, даже расстреливая, уважают смелых»¹⁶, или когда говорил, что если дело идет о завоевании Индии, его шпага с ними. Но на следствии он не «молчал как вода». Однако, как верно замечает О. Хлебников, в его показаниях «не полная правда».

В этой связи обратим внимание на зачем-то понадобившийся Гумилеву хронологический сдвиг: «... летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериним и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию, через месяц я получил в мое отсутствие от него записку . . .»

Поэт Борис Верин, которого С. Лукницкий назвал почему-то «никому неизвестным», — Борис Николаевич Башкиров, окончивший царское сельскую гимназию за восемь лет до Гумилева, входивший в окружение Игоря Северянина, получивший от Северянина титул «Принц Сирени»¹⁷, сын богатого купца-мукомола, выступавший в роли мецената¹⁸, друг Сергея Прокофьева, который писал музыку на тексты Б. Верина¹⁹. Б. Н. Башкиров перебрался в Финляндию уже в апреле 1920 года: в это время в гельсингфорсской газете «Новая русская жизнь» начинают появляться (под его инициалами и разными псевдонимами) его стихи и статьи. В январе 1921 года, когда вся его семья покинула Россию, он эти псевдонимы раскрыл²⁰.

И, конечно, Гумилев «неоткровенен со следствием»²¹, когда он говорит о «туманной форме», в которой он вел разговоры о наличии конспиративной организации. Свидетельством его вполне внятных бесед на эту тему является письмо филолога Бориса

Павловича Сильверсвана (1883—1934) к писателю А. В. Амфитеатрову, недавно опубликованное американским славистом Вадимом Крейдом²². Предваряя подробную выдержку из этого письма, заметим, что толки о каких-то хлопотах влиятельных лиц за Гумилева бытовали в Петрограде в 1921 году. Виктор Серж (В. Л. Кибальчич) в своих «Воспоминаниях революционера» рассказывает:

«Я зашел к нему в Дом искусств на Мойке. Он жил там со своей молодой женой, большой девочкой с тонкой шеей, с глазами испуганной газели, в большой комнате, стены которой были расписаны лебедями и лотосами, бывшей ванной комнате купца, увлекавшегося такого рода поэзией. Молодая жена Гумилева сказала мне шепотом: «Как? Вы не знаете? Его забрали от меня три дня назад . . .» Товарищи из исполкома Совета меня одновременно и успокоили и взволновали: к Гумилеву в чека относятся очень хорошо, он иногда ночью читает чекистам свои стихи, полные благородного мужества, но он признал, что составлял некоторые политические документы контрреволюционной группы. Все это казалось правдой. Гумилев не скрывал своих убеждений. Во время Кронштадта университетские круги должны были считать конец режима неизбежным и думать об участии в его ликвидации. «Заговор», вероятно, не шел дальше. Чека готовилась к расстрелу всех. «Сейчас не время миндальничать». Один из товарищей поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: «Можно ли расстрелять одного из двух или трех величайших поэтов России?» Дзержинский ответил: «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?»²³

Итак, в письме от 20 сентября 1931 года²⁴ Б. П. Сильверсван писал:

«Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл там видную роль: он был арестован в начале августа, выданный Таганцевым, а в конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я немедленно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию: предполагалось, между прочим, воспользо-

ваться моей тайной связью с Финляндией, т. е. предполагал это, по-видимому, пока только Гумилев; он сообщил мне тогда, что организация состоит из «пятерок»: членом каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы пятерок известны самому Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению, он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленными и захватывают влиятельные круги Красной Армии; он был чрезвычайно конспиративен и взял с меня честное слово, что о его предложении я не скажу никому, даже Евд. П.²⁵, матери и т. п. (что я исполнил); я говорил ему тогда же, что, ввиду того, что чекисты несомненно напали на след организации, м. б., следовало бы временно притаяться, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнулся пыткам и может начать выдавать; на это Гумилев ответил, что уверен, что Таганцев никого не выдаст и пр., наоборот, теперь-то и нужно действовать; из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной Армии; Ник. Степ. был бодр и твердо уверен в успехе; через несколько дней после нашего разговора он был арестован; т. к. он говорил мне, что ему не грозит никакая опасность, т. к. выдать его мог только Т., а в нем он уверен, — то я понял, что Таг. действительно выдает, как, впрочем, говорили в городе уже раньше. Я ужасно боялся, что в руках чекистов окажутся какие-нибудь доказательства против Ник. Степ., и, как я потом узнал от лиц, сидевших одновременно с ним, но потом выпущенных, им в руки попали написанные его рукою прокламации, и гибель его была неизбежна.

В связи с этим, т. е. с тем, что обвинения против него были весьма серьезны, я хочу указать на статью Н. Волковьского (не помню, в какой газете), где он рассказывает о посещении чека им и несколькими другими литераторами для справок об арестованном Гумилеве и говорит, м. проч., что вы (в «Горестных заметах» или в отдельной статье — не помню) неточно передали этот случай. Волковьский пишет, что после справки по телефону о Гумилеве чекист, разговаривавший с ним, сразу изменил

выражение своей рожи и потребовал предъявить «документы» — т. обр., ясно, что чека рассматривала Н. Ст-ча как очень опасного своего врага²⁶.

Теперь я хочу вам рассказать о моем свидании с Горьким после таганцевских расстрелов; разговор, бывший во время этого свидания, я тогда же дословно записал и хранил эту запись в надежном месте и потом привез сюда; сперва хочу сказать, что я лично уверен, что Горький был вполне искренен; уверен я, что он искренен и теперь, говоря совсем противоположное; вообще я не считаю Горького «продавшимся», а считаю его прежде всего человеком непросвещенным, а кроме того — легко поддающимся чужому влиянию; как бы то ни было, в начале сент. 1921 года я пришел к нему на квартиру, чтобы заявить ему о своем решении бежать за границу; я считал своим долгом сделать это, т. к. в феврале 1921 года был выпущен из чека за поручительством Горького и дал подписку о невыезде из Петербурга. Вот наш разговор слово в слово.

Я. А. М., т. к. вы взяли меня на поруки из ЧК, я считаю своим долгом предупредить вас, что я бесповоротно решил бежать за границу.

Г. Благое дело, благое дело, голубчик; я тоже скоро уеду; о поручительстве моем не беспокойтесь; да помилуйте, что это такое? Какие это революционеры, социалисты? Все это сволочь, убийцы, воры; я вам скажу, я всякую веру в них потерял; мой совет — всем уезжать, кто только может, они ведь всех убьют, всю интеллигенцию уничтожат. Надо спастись, надо спастись.

Я. А скажите, А. М., неужели никого нельзя было спасти из убитых по таганцевскому делу?

Г. (сильно волнуясь, со слезами на глазах). Вы видели, видели, кто от меня сейчас вышел? (Входя, я встретил выходящую от него даму в трауре.) Это жена Тихвинского; Ленин его хорошо знал; Ленин мне говорил про него: «Вот это голова! Нам такие люди нужны, очень нужны». И вот видите?

Я. Т. е. вы хотите сказать, что даже Ленин не мог здесь ничего сделать?

Г. (после небольшого колебания). Я вам расскажу. Я несколько раз ездил в Москву по этому делу. Первый раз Ленин указал мне, что

эти аресты — пустяки, чтоб я не беспокоился, что скоро всех выпустят. Я вернулся сюда. Но здесь слышу, что аресты продолжают, что дело серьезно, командированы следователи из Москвы. Я опять поехал в Москву; прихожу к Ленину. Он смеется: «Да что вы беспокоитесь, А. М., ничего нет особенного. Вы поговорите с Дзержинским». Я иду к Дзержинскому, и, представьте, этот мерзавец (sic!) первым делом мне говорит: «В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя». Что же, я говорю, вы и меня хотите арестовать? — Пока нет. — Вижу, дело серьезное. Я пошел к Красину. Красин страшно был возмущен. Мы вместе с ним были у Ленина; Ленин обещал поговорить с Дзержинским. Потом я несколько раз звонил Ленину, но меня не соединяли с ним, а раньше всегда соединяли. Наконец я опять добился быть у него; он сказал, что ручается, что никто не будет расстрелян; я уехал, в Петрограде через два дня прочел в газетах о расстреле всех²⁷. Вот. А с Романовыми хуже было. Я в Москве упросил Ленина отдать мне их на поруки (речь идет о Вел. Князях Ник. Мих., Павле Ал-др., Георг. Мих., Дмитр. Конст. и Иоан. Конст. — Б. С.), и он мне выдал бумагу, по которой я мог увезти их из чека; я сел в поезд в тот же вечер и утром уже был в чека с бумагой; мне говорят: сегодня ночью

расстреляны. Как, почему? По телефонному распоряжению Ленина из Москвы (sic!!!)²⁸.

Я. Но... после этого... что же такое Ленин?

Г. (вдруг стихнул, как будто смущенный). Ленин... видите ли... это прежде всего человек... безмерно хитрый (sic!).

Я. Безмерно хитрый? Другими словами — подлец 96-й пробы!

Г., насупившись, молча смотрит перед собой.

Я. А. М., но об этом нельзя же молчать?

Г. (скривившись). Да, за границей я опубликую мои о них сведения! Пусть все узнают, это так оставить нельзя. Дзержинский задерживает мне паспорт, но я его получу!

Я. А. М., это будет иметь огромное значение, это необходимо сделать! (Дальше идет сердечное прощание, пожелания, etc.)

Горький уехал за границу; я все ждал его разоблачений; вместо них он написал... восторженную статью о Ленине и — такую же о Дзержинском! Дальнейшее — известно.

Этот любопытный разговор я не сделал — и не сделаю — достоянием печати, пока существуют большевики; о нем знают только мои близкие и Ю. А. Григорков²⁹. Повторяю, в искренности Горького я не сомневаюсь; сообщая вам копию моей записи „доверительно“».³⁰

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лукницкий С. Дорога к Гумилеву. — «Московские новости», 1989, 26 ноября; Хлебников О. Шагреневые переплеты. — «Огонек», 1990, № 18.

² Прежде всего это относится к отсутствующим в деле прокламациям. Ср. свидетельство Бориса Харитона (чью подпись мы встречаем в «деле» под ходатайством об освобождении Гумилева под поручительство): «Эти прокламации показывал мне Гумилев в дни Кронштадтского восстания и не соглашался передать их на хранение в одно безопасное нейтральное место, потому что был он человеком большого бесстрашия, любил риск, искал неизведанного и неиспытанного» («Сегодня» [Рига], 1926, 27 августа).

³ «Новый мир», 1989, № 4, с. 263—269.

⁴ Мельгунов С. П. Красный террор в России. Нью-Йорк, 1979, с. 181.

⁵ «Сегодня» (Рига), 1921, 14 сентября. Современники вспоминали об Ухтомском как «человеке исключительных духовных

дарований» (Пиотровский Н. Г. Русский Некрополь. Варшава, 1929, с. 83).

⁶ Всероссийский комитет помощи голодающим, уже запрещенный к сентябрю 1921 года.

⁷ «Последние новости» (Париж), 1921, 17 сентября.

⁸ В числе расстрелянных, как известно, были и женщины — Ольга Викторовна Голенищева-Кутузова (сестра милосердия, знакомая Гумилева по Царскому Селу 1900-х годов — он посвящал ей стихи), сестры Е. Г. Манухина и Н. Г. Скарятина (см. И. В. [Воинов И. В.]. Вместо цветка на их могилу. — «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс), 1921, 21 сентября) и другие.

⁹ И. Дела литературные. — «Социалистический вестник», 1928, № 24, с. 16.

¹⁰ В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915—1930. Сост. и комментарий Бенгта Янгфельда. Стокгольм, 1982, с. 277.

¹¹ Гольдштейн М. Советские вундеркин-

ды тридцатых годов. — «Новый журнал» (Нью-Йорк), 1984, № 154, с. 153. См. об Агранове в книге Р. Кошница «Большой террор». — «Новая», 1989, № 9, с. 134, 143; № 10, с. 135; № 12, с. 160.

¹² Матадор (Брешко-Бронковский Н.Н.). Парижские огни. — «Два васа» (Рига), 1936, № 21, с. 17. Томас Эдуард Лоуренс (1888—1935) — английский разведчик. В то время работал в арабских странах.

¹³ «Общее дело» (Париж), 1921, 15 октября.

¹⁴ Возможно, это отголосок действительных разговоров с Гумиловым. О его взглядах 1921 года даст представление свидетельство художника Д. Д. Бушена: «... он мне сказал тогда невероятно странную вещь: «Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только пять лет». А я ему ответил: «Николай Степанович, ну хорошо, пять лет. А когда пять лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет». Знаете, что он мне ответил? — «Патриарх» (Дедюлин С. «Со мной говорил Гумилев...»). Литературное приложение № 3/4 к газете «Русская мысль». Париж, 1987, 5 июня).

¹⁵ «Голос России» (Берлин), 1921, 14 сентября.

Отмечу, что один из выразивших в сентябре 1921 года сомнение в том, что Гумилев участвовал в заговоре, руководствовался аргументом, что иначе он, А. В. Амфитеатров, знал бы об этом. Десять лет спустя он разъяснил этот мотив, рассказав, как один с Гумиловым еще до знакомства последнего с посланными от В. Н. Таганцева пытались организовать конспиративную группу, делали соответствующее предложение одному из сотрудников «Всемирной литературы», отказавшемуся от участия в этом предприятии ссылкой на собственную физическую трусость (Амфитеатров А. Мое участие в «заговоре» с Гумиловым. — «Сегодня», 1931, 13 сентября).

¹⁶ Аничкова С. (баронесса Таубе). Загадка Ленина. Из воспоминаний редактора. Прага, 1935, с. 213.

¹⁷ Северянин И. Соловей. Берлин, 1923, с. 5.

¹⁸ См. о приемах у него: Рождественский В. Страницы жизни. М., 1974, с. 335—347; Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989, с. 89; Лурье А. Детский рай. — В кн.: Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989, с. 350. 29 декабря 1919 г. Б. Башкиров-Ворин выступал вместе с Гумиловым на вечере поэтов в Доме искусств («Жизнь искусства», 1920, 3—5 января).

¹⁹ Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973, с. 101, 196, 222.

²⁰ На гибель Гумилова Б. Н. Башкиров-Ворин откликнулся статьей «События, люди!» («Новая русская жизнь», 1921, 14 октября), но о своих контактах с Гумиловым он в ней не рассказывает.

²¹ С. Лукницкий и О. Хлебников заметили нарастающее по ходу дела давление следователя, постепенное распыление обвинения и усиливающуюся самообличительность ответов. Сначала Гумилеву «не придали большого значения», как предположил литературовед Ю. Г. Оксман, исходя из того, что поначалу Гумилев был помещен в общую камеру, о чем поведали Оксману на Колыме два спекулянта, сидевшие по своим «делам» в тюрьме на Гороховой с Гумиловым (Stanford Slavic Studies. Vol. 1. 1987. P. 32). Можно предположить, что «укрупненно» дела не противоречили, а естественно, по логике сыска, сопутствовали успокаивающим слухи с Гороховой. Так, Амфитеатров свидетельствует, что 16 августа он встретил жену расстрелянного впоследствии вместе с Гумиловым юриста, профессора Н. И. Лазаревского, «спокойную за участь своего мужа, обнадеженную и уверенную, что дело его — пустяковое недоразумение и он не сегодня-завтра будет на воле» («Сегодня», 1921, 16 сентября). Разносчиком такого слуха невольно оказался и Н. А. Оцуп (следует учесть, что сестра его сотрудничала в ЧК, — см.: Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983, т. 1, с. 130). Ахматова писала в 1960-е годы: «Об Оцупе помню одно. Он взялся хлопотать за Гумилева. Я встретила его на лестнице во «Всемирной литературе», Моховая, 36, и спросила: «Ну что? Он ответил: «Я был там. Сказали, что выступают в пятницу. Это все. Негодяй или дурак?»

²² «Панорама» (Лос-Анджелес), 1989, 15—22 декабря, с. 16—17.

²³ Serge V. Memoirs of a Revolutionary. London. 1963. P. 150. Цитируем по переводу Ю. Сречинского («Новое русское слово» [Нью-Йорк], 1972, 28 мая). Пока трудно с уверенностью сказать, какие именно материалы имел в виду осведомленный Ф. Ф. Раскольников, анонсируя в 1932 году в серии «Литературное наследство» сообщение «Гумилев и контрреволюция».

²⁴ Первая часть этого письма (до слов «... очень опасного своего врага») с небольшими сокращениями и обозначением имени Сильверсвана инициалом напечатана в статье А. Амфитеатрова «Таганцевская загадка» («Сегодня», 1931, 25 октября).

²⁵ Евдокия Петровна Струкова — секретарь издательства «Всемирная литература», жена Б. П. Сильверсвана.

²⁶ Эти воспоминания Н. М. Волковского напечатаны в рижской газете «Сегодня» 3 февраля 1923 года. Перепечатаны в кн.: Ахматова А. Десятые годы. М., 1989, с. 257—260.

В статье «Таганцевская загадка» Амфитеатров указал, что его пересказ был сделан со слов Акимы Волынского, входящего в делегацию, посещающую ЧК. Этот пересказ впервые появился в статье

Амфитеатрова о Гумилеве из цикла очерков «Горестные заметы», напечатанной 13 сентября 1921 года в гельсингфорской газете «Новая русская жизнь» и перепечатанной 18 сентября рижской газетой «Сегодня».

²⁷ В очерке Замятина о Горьком (1936) придется пересказать разговор с последним, и здесь Горький говорит о московском обещании сохранить жизнь Гумилеву и о неподчинении петроградских властей (Замятин Е. Сочинения. М., 1988, с.354). Собиравший материалов о Гумилеве Андрей Станюкович записал в августе 1966 года рассказ прозаика М. Л. Слонимского: «Горький немедленно после ареста Гумилева поехал в Москву просить за него перед Лениным. Вернулся радостный: Ленин пообещал, что Гумилева помилуют. И вот через некоторое время Горький появился в комнатах «Всемирной литературы» в слезах. Он поминутно вытирал глаза платком. От него мы узнали о том, что Гумилев расстрелян. В моей памяти с математической точностью отпечатались его слова тогда: „Этот Гришка Зиновьев задержал ленинские указания“».

²⁸ В воспоминаниях доктора И. И. Манухина приведен другой рассказ Горького об этом эпизоде: «Я примчался на вокзал с бумагой, подписанной Лениным.

Очень торопился, чтобы успеть на петербургский вечерний поезд. Случайно на платформе мне попалась в руки вечерняя газета. Я развернул ее... — расстрел Романовых!.. Я обомлел... Вскочил в вагон... Дальше ничего не помню. Очнулся глубокой ночью в Клину, один в пустом вагоне на запасном пути... Вы свидетель, что я хотел, но мне не удалось спасти этих несчастных людей» («Новый журнал», 1958, № 54, с. 115). В воспоминаниях Манухина нет версии о ссылке на телефонное распоряжение Ленина.

²⁹ Юрий Александрович Григорков — русский журналист, живший, как и Сильверсан, в Хельсинки.

³⁰ Вот как близкий к «Всемирной литературе» Георгий Адамович пересказывает бытовавший тогда в Петрограде слух: «Горький будто бы телеграфировал Ленину, прося вмешательства. Ленин, вероятно, впервые слышал имя Гумилева, — если только действительно Горький с ним по этому делу говорил, — Ленин будто бы написал два слова петербургским чекистам. История темная. Как не раз уже бывало в подобных случаях, распоряжение об отмене приговора пришло «слишком поздно». Не то почту не разобрали вовремя, не то телеграф, как назло, в этот день не работал...» («Последние новости», 1931, 30 августа.)

Владислав ХОДАСЕВИЧ

ПОДСЛУШАННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Наследие выдающегося русского поэта, непревзойденного критика и блистательного мемуариста Владислава Фелициановича Ходасевича в последние годы входит в повседневный литературный оборот. Сегодня мы предлагаем читателю несколько его миниатюр в «сатириконском» жанре. Мы прибегаем к этому определению не только потому, что «Подслушанные разговоры», часть из которых приводится ниже, напечатаны в журнале «Сатирикон» (Париж, 1931, № 16, с. 3), но и затем, чтобы, избегнув зыбкой границы между юмористической и сатирической словесностью, указать на тот род литературы, который, по слову О. Мандельштама, культивирует «сильнейшее и острейшее чувство нелепости».

Роман Тименчик

ЧИСТАЯ АБСТРАКЦИЯ

Берлин, Тауэнтциенштрассе, часов девять вечера. Два голоса у меня за спиной.

— Нет, брат, ты что там ни говори, а волос у тебя дрянь.

— А я тебе говорю, волос у меня даже очень хороший.

- Да как же хороший, коли ты лысый?
- Вот то-то и есть, что у меня только нет его. А кабы он был, так был бы очень хороший.
- Чудак человек! Каким же он у тебя хороший, коли его совсем нету?
- А вот такой, что кабы я его брыл, он был бы у меня хороший, а я его не брыл, вот его и нету. Мне так и доктор сказал: волос у вас хороший, да только его нету, потому что вы его не брыли. А кабы вы, говорит, его брыли, у вас, говорит, был бы замечательный волос.

ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

— Нет, что ни говорите, а великий был человек. Я «Полтаву» его, почитай, наизусть знал. Ну, теперь-то забыл, конечное дело. А то, бывало, как пойду чесать: тррр . . . И до чего же он остроумный был — удивительно. Раз это одевается он у себя, а тут входит одна курсисточка. А он, понимаете, в одной рубашонке. Так он что сделал? Взял конец рубашонки в зубы, да так перед ней и стоит. Да еще говорит: «Извиняюсь, говорит, я без галстучка . . . » Я много чего про него знаю, и всю его жизнь знаю очень хорошо. Выпивоха был, между прочим, отчаянный, — все с гусарами пил. День и ночь пьет, бывало. А только вот вы подумайте, до чего был скор на стихи, трезвый ли, пьяный ли — все одно. Ему ничо чем. Вот один раз какой был достоверный факт. Напился это он и валяется на дороге. А Лермонтов-то идет. Увидел его да и говорит, стихами, само собой разумеется:

Чье это безжизненное тело

Лежит на моем пути?

А он, хоть и пьян, как колода, а враз ему прямо из лужи и отвечает:

А тебе какое дело?

Пока морда цела — проходи.

Ну, тут Лермонтов ему сразу первое место и уступил.

О ТЕАТРЕ

- Ну что, интересный вышел спектакль?
- Ужасно интересный! Представьте себе, Иван Петрович очутился в одиннадцатом ряду рядом с Семеном Марковичем — и ничего, даже потом разговаривали!
- А как вы нашли костюмы?
- Вполне порядочные костюмы, мужчины многие были даже в смокингах.
- Так что в общем — удачный вечер?
- Очень! Как только вышли — прямо в автобус попали.
- Ну, а все-таки, как играли?
- Вот играли неважно. Во-первых, уже поздно начали, а потом я сразу без двух на бескозырях осталась.

V. ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В КУРЛЯНДСКОЙ ГЛУШИ

На берегу узенькой быстроводной речонки, в длинной, сверкающей изумрудом лугов долине, с которой начинается Курляндская Швейцария, раскинулось маленькое глухое местечко. Окруженная зеленым, утонувшим в кленах, ивах, вязах, черемухе кладбищем за низкой, сложенной из пыльных булыжников оградой, через которую пробиваются кудрявые усики повилки, дремлет ветхая, со скрипучим флюгерком на колокольне, глинобитная кирха. В ней по воскресным, просиянным солнцем утрам мягким мажором гудит орган и слышится нестройное бабье пение. На церковной площади расположились несложные постройки.

Старая, под побуревшей черепичной крышей корчма с кривым и слепым фонарем у входа, с длинной конюшней, из открытых дверей которой доносится сочное, крепкое жеванье, пофукиванье, удары копыт. Две-три лавчонки, аптека. В окнах лавчонок, за горячей на солнцепеке слюдой стекла, виднеются нехитрые предметы: жгуты бечевки, хомут, связка уздечек, поплавки, замочки, огромные деревенские кошелы, оранжевые жестянки с карамелью, граненые стаканы с пожухлым, ссохшим-

ся изюмом, миндалем, ванилью, горка папиросных коробок. Когда открываются двери — длинно, звонкими шавками позванивают колокольчики и вырвется наружу прохладный лавочный дух — деготь, селедка, кожа. На дверях, покоробленная солнцем, скалит зубы табачная восточная красавица.

У крылечка, уйдя мордой в овесный мешок, обмахивается перевязанным хвостом пегий мерин. Телега остановилась боком, и на втулках лоснится сгустками колесная мазь . . . Зеленые, обожженные солнцем афишки у дверей кооператива, у аптеки, у сеной корчмы извещают собравшийся из окрестных деревень и хуторов люд о том, что нынче, после обеда, в парке состоится певческий праздник с участием столичных артистов. Хуторские хозяева, покуривая трубки, бия кнутовищами по пыльным сапогам, читают афишки, ухмыляются, лезут в карманы штанов, вынимают порыжевшие, внушительных размеров кошелы и пересчитывают деньги. Располагаются — в ожидании назначенного часа — группами на лужайках. Появляется вынутая из сермяжных мешков закуска — пеклеванные хлебцы, рыжая, плоская камбала.

Окончание. Нач. см. «Даугава», № 4, 6, 7.

Тут и там мелькнут прозрачные горлышки водки и, ловко выбитые загорелыми кулаками, хлопают осургученные пробки.

Зной. Час послеобеденный, ленивый, маятник времени будто остановился и дремлет. За кругом черепичных крыш, за изгибом облитого солнцем, сверкающего белой пылью шляха стелются под ласковым, душистым летним ветром еще светлые, зеленовато-седые полотна заколосившейся ржи. В речке ослепительно парчовой чешуей сверкает плес. Берега — в пестрой сыпи ромашки, клевера, кашки. С них, склоняясь к воде, свисают, лоснясь, седые, дымные кропила плакучих ив. Носятся, почти касаясь грудью речного зеркала, стрижи. У моста на пригорке, перекинутые через замшелые шести, сереют, сжавшись от солнца с выпуклыми узлами швов, сухие, как лопухи, рыболовные сети. В прозрачной воде в оливковой паутине водорослей проплывают, виась, длинные бурые тельца угрей. Пахнет крапивой, водой, пылью...

К вечеру начинается оживление. Стекается люд. Идут по тропкам, боясь за участь белых туфель, загорелые льноволосяе девушки. Заводские парни в пестрых галстуках, спортивных кепках, с велосипедами, на которых огнем горят спицы и крутятся желтыми бляхами номера. Кирпичнолицые хозяева в картузах, в бархатных жилетках с серебряными змейками часовых цепочек, в пыльных сапогах. Вышнотелые хозяйки в шелесте туго накрахмаленных добротпорядочных юбок. Детвора в лоснящихся, новеньких воскресных сандалях.

Маленькой группой — стороной — прошли приезжие артисты: господин с сверкающим из-под открытого макинтоша * фракным пластроном **, другой — в лаковых джимми ***, со скрипичным футляром под мышкой, дамы в банановых чулках. Сливаясь с крепким дыханием ржи и

лугов, поплыла струйка сигарного дыма и Лоригана *. На горожан оглядывается деревенский люд, глазают, раскрыв румяные рты, ребяташки...

... В старинном — некогда баронском — парке, под шатром столетних буков, берез, лип кишит собравшаяся на праздник толпа. Маячат пятна белых платьев, синих пиджаков, серых кепок. На лужайках — алые блики громадных атласнолистных маков. На украшенной зеленью и флажками веранде дома выстраивается хор. Девушки в национальных костюмах, в венках из васильков и ромашки. Заводские рабочие. Несколько студентов с корпорационными лентами. Учащиеся сельскохозяйственной школы в зеленых фуражках. Почтенные бородачи — хуторские хозяева.

На площади перед верандой, на скамьях и стоя, собрались слушатели. Крепкий люд земли и труда. Загорелые обветренные лица. Несколько светлых пятен — городские лица. Много лобастых, шевелюристых, хуторских и заводских парней. Бросается в глаза черно-оливкое лицо старого арапа, вывезенного покойным баринном полсотни лет тому назад из заморских стран. Черное, лоснящееся лицо и руки, да несколько экзотически-цыганский наряд: бархатная куртка, широкополая фетровая шляпа, длинная трубка — в остальном африканец акклиматизировался без остатка.

Сквозь тесное кольцо певцов на веранде смущенно и неуклюже пробирается регент ** — сельский учитель. Тут и там перетасовывает хористов. Шепчется с главарями голосов. Откашливается. Бьет камертоном по перилам. Долго прислушивается. Обстоятельно, многократно задает тон. Наконец, решительно, бесповоротно, с известной трагичностью взмахивает палочкой — плыви, мол, утлый челн, поручаю тебя волнам, ветру и подводным рифам. И поплыл челн. Неуверенно сначала, жиденько, робко. Но потом все больше и больше, крепчая, надувая паруса, минувя или побеждая мели и пороги...

Прекрасные — и старинные и современные — латышские песнопения

* Лориган — французские духи.

** Регент — дирижер хора.

* Макинтош — плащ из непромокаемой прорезиненной ткани.

** Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской ворхней сорочки (под открытым жилетом при фраке или смокинге)

*** Туфли джимми — мужские узконосые туфли, от названия танца «шимми».

плывут в румянном воздухе вечера, влетают в погруженные в пурпур шатры буков и лип, гаснут в безоблачной золотой вышине.

Между хоровыми номерами — выступления городских артистов. Играет скрипач. Наивная, неотесанная, но восприимчивая аудитория с любопытством прислушивается к крейслеровским, дворжаковским, шопеновским мотивам. Особенно экспансивно, с покачивающимися в такт головами, с веселыми подмигиваниями воспринимается мазурка Венявского, этот добрый и верный концертный конек. С куплетами на злободневные темы выступает комик во фраке и цилиндре. Но особенным успехом пользуется молодой местный житель в костюме этакого олатышенного Паташона*, рассказывающий сценки с местным колоритом. В нем, несмотря на ринальдо-ринальдиниевскую** шляпу, рыжий парик и бородку, давно уже узнали своего Яниса или Кришьяна, аплодируют после каждого сочного места и долго вызывают. Несколькими, совсем уже стройными номерами смешанного хора заканчивается концерт.

Надвинулись сумерки. Лучистыми зернами зажглись звезды. Парк в сизом дыму. Тут и там, в гуще могучих деревьев, маячат красные, синие, желтые блики лампионов. Вспархивают гуды гармошек. Взмываются волны хорового пения — свободного, распоясавшегося, не пропущенного сквозь фильтры долгих спевков. Вместе с пением распоясывается настроение — хмелеет,

* Паташон — комедийный персонаж довоенных кинофильмов (Пат и Паташон).

** Ринальдо-ринальдиниевская шляпа — по имени Ринальдо Ринальдини, романтичного разбойника.

несмотря на безалкогольный будет... Крепкий, лоснящийся, при свете фонариков медью труб духовой оркестр айзсаргов* интонирует вальс. На укутанной площадке перед верандой — деревенской танцдилэ** — кружится и подпрыгивает море, нет! пруд — голов. За вальсом следует ту-стэп, гайлит, полька — консервативный деревенский люд не признает фокстрота... .

В комнатах бывшего помещичьего дома — ныне школы — за длинными столами, уставленными деревенскими яствами, собрались приезжие гости, артисты, учителя, студенты. Среди яств доминируют крупные превосходные раки, которыми славится местная речонка. К ним, как обязательный спутник, подается крепкий, обжигающий губы кюммель***. В комнаты, через настезь открытые окна и двери, врывается вечерняя душистая прохлада, звуки труб и корнетов, шарканье танцующих, всплески пения, гул голосов. А с другой стороны дома — там, где асфальтированная терраса спускается в глубь долины, веет тишиной. За поляной, над купами вязов и лип, на широких заливных лугах, стелятся молочно-белые полотенца ночного тумана. Сухим, острым треском верещат дергачи. Небо в сизо-зеленом перламутре, в последних угасающих отсветах заката ждет новую, недалекую зарю... .

* Айзсарги (защитники) — члены военизированной организации лиц, верных режиму.

** Танцдилэ — танцплощадка.

*** Кюммель — сорт алкогольного напитка.

(«Сегодня», 1926, № 152)

Публикация Юрия АБЫЗОВА.

БУДЕТ ЛИ КАРТОТЕКА?

Мне по душе предложение читателя Ю. Зайберта («Даугава», 1990, № 3). Он предлагает открыть картотеку на палачей, действовавших на территории Латвии. И пусть это будет примером для других республик Союза, уроком для палачей прошлых, настоящих и будущих.

Считаю также, что в будущую картотеку необходимо вписать и имена тех преступников, которые должны проходить как подсудимые по «делу о Чернобыле». Руководители УССР, обладая всей полнотой информации и еще большей властью, скрыли от народов Украины, Белоруссии и части России правду об угрозе радиоактивного вырождения.

Картотека на палачей стала бы предостережением всем нынешним и будущим горе-руководителям.

Парефразируя Шарля де Костера, хочется сказать: пепел жерти Гулагов, психушек, Сумгаита, Карабаха, Ферганы, Тбилиси, Баку, Афганистана и Чернобыля стучит в наши сердца.

В. Гитлиц,
г. Харьков

ОТ РЕДАКЦИИ. «Картотека Юрасова» возникла по инициативе нашего читателя. Дмитрий Геннадиевич Юрасов собрал обширный материал и предоставил его в распоряжение редакции. «Даугава» в свою очередь выделила для этого часть своих страниц. Если бы кто-то из наших авторов прислал нам материалы будущей картотеки, место нашлось бы и для нее. Но пока дальше предложенный дело не идет. А из одних благих намерений новую рубрику не создать!

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Я регулярно читаю „Почту «Даугавы»“. Из этой почты видно, что великая Россия начинает понемногу просыпаться и отрешается от наркотических догм. Мое убеждение: пока Россия не станет свободной и демократичной, до тех пор и малые республики такими полностью не станут. Это только ГДР, Польше, ЧСФР, Румынии и Венгрии повезло.

Меня поразила некомпетентность доцента Курского пединститута С. А. Бабушкина, отразившаяся в его письме, в котором он осуждает народных депутатов СССР из Прибалтики.

Может быть, где-то в Курске, Смоленске или во Владивостоке людям imponируют выступления таких «специалистов» по Прибалтике, как депутаты Алкснис, Коган, Яровой и Петрушенко. Нам же, жителям Прибалтики, обидно за тех людей в России, которых эти депутаты откровенно дезинформируют.

И раз уж речь зашла о Съезде народных депутатов СССР, скажу, что меня очень удивило, какое дружное сопротивление вызвала постановка на обсуждение вопроса о пакте Молотова — Риббентропа 1939 года.

Съезд этот сговор осудил и признал недействительным. На этом поставили точку, а по-моему, надо было ставить запятую и продолжать расследование на тему о том, как этот сговор повлиял на дальнейшие судьбы трех независимых государств Прибалтики, о событиях июня 1940 года.

Об июне 1940 года по-разному толкуют все кому не лень. Произошла ли в этих странах революция, или это больше смахивает на аннексию? Пора дать четкий и правдивый ответ и на этот вопрос.

*С уважением
Я. Д. Брингулис, рабочий,
г. Резекне*

ЧИТАТЕЛЬ УТОЧНЯЕТ

Во втором номере «Даугавы» на с. 83 напечатана фотография с выставки «Латвия лайкс». Снимок датирован 1949 годом, и ниже указывается, что его автор неизвестен.

Могу сообщить, что автором фотографии является Я Бирзгалис — ветеринарный санитар Вецпиебалгской волости. Фотография была отпечатана в специальном выпуске газеты «Циня» для Вецпиебалгской волости 1 ноября 1948 года.

*С уважением
Олаф Вете,
Цесисский район.*

Авторы снимков в тексте: Улдис Бриедис, Харийс Бурмейстарс, Юрий Куприянов, Гунар Янайтис.

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 01.06.90.
Подписано к печати 29.06.90. ЯТ 00135.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
12,16 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 947. Цена 45 коп.

Технический редактор
Мудите АРАЯ

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

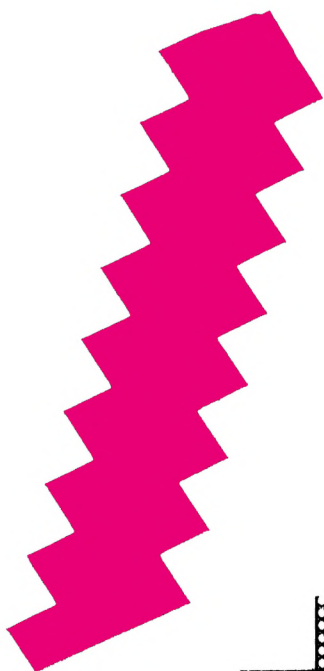
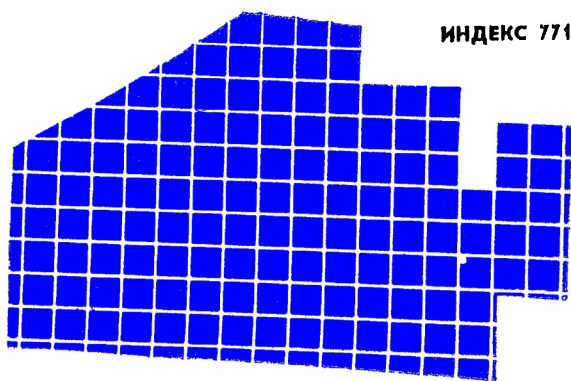


В мае 1990 года

Фото Гунара Яняйтиса

45 КОП.

ИНДЕКС 77123



ISSN 0207—4001, «ДАУГДАВА», 1990, № 8, 1—128